АННА БЕРСЕНЕВА

ЖЕНЩИНА ИЗ ШЕЛКОВОГО МИРА

Анна Берсенева

Женщина из шелкового мира

«Анна Берсенева»
2009

Берсенева А.

Женщина из шелкового мира / А. Берсенева — «Анна Берсенева», 2009

ISBN 978-5-699-34074-3

К тридцати годам эта женщина живет в собственном замкнутом мире. Работа в провинциальной библиотеке, вдумчивое чтение, одиночество. Все это вполне ее устраивает. И вдруг в ее тихий мир врывается любовь – как в книгах, с первого взгляда! Вот только в жизни за безоглядной любовью следует предательство. Но вместо того чтобы впасть в отчаяние, героиня решает изменить свою судьбу до неузнаваемости. Она становится холодной и роскошной столичной хищницей Мадо. И сама распоряжается судьбами мужчин, подпадающих под ее чары. Мадо уверена: к себе прошлой нет возврата. Ведь, наверное, нельзя дважды войти в одну и ту же реку?..

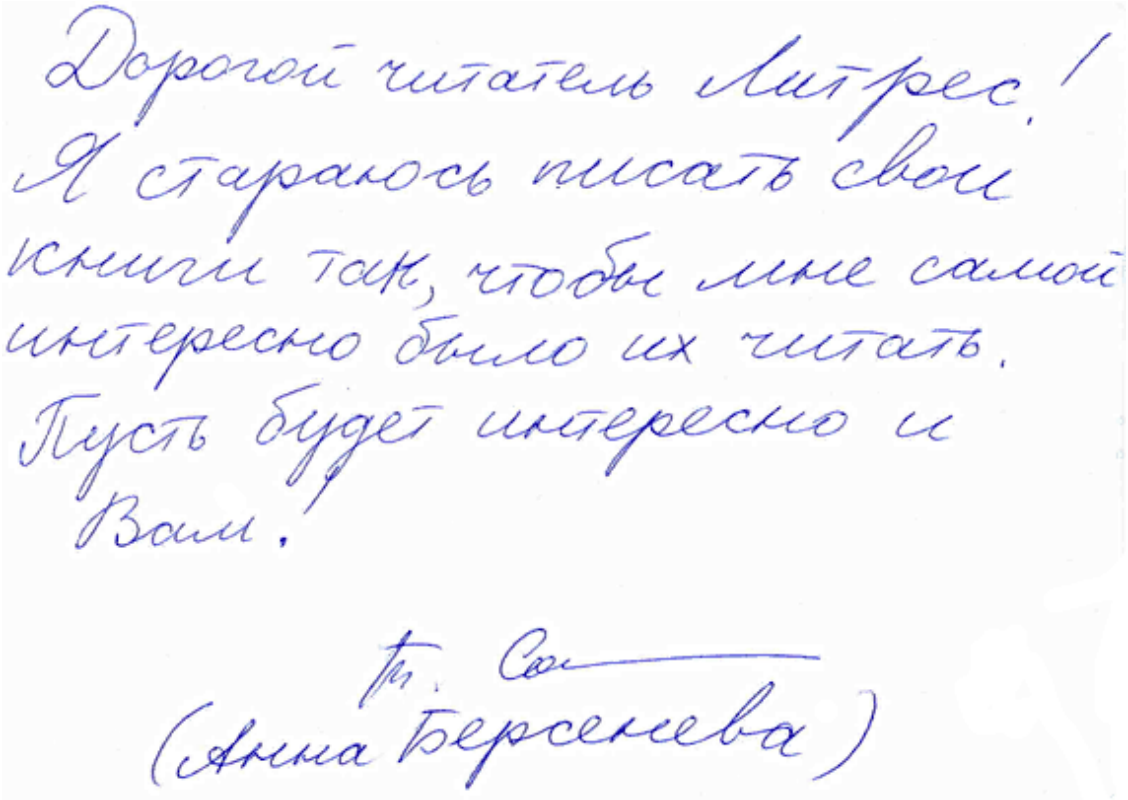
ISBN 978-5-699-34074-3

© Берсенева А., 2009
© Анна Берсенева, 2009

Содержание

Часть I 6
Глава 1 6
Глава 2 11
Глава 3 14
Глава 4 18
Глава 5 22
Глава 6 30
Глава 7 34
Глава 8 39
Глава 9 44
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Анна Берсенева
Женщина из шелкового мира


Дорогой читатель Митрес!
Я стараюсь писать свои
книги так, чтобы мне самой
интересно было их читать.
Пусть будет интересно и
Вам.

Т. Сов
(Анна Берсенева)

Часть I

Глава 1

Если твоим родителям в момент твоего рождения почему-то пришло в голову необычное имя, то тебе всю жизнь предстоит отвечать на глупейшие вопросы: отчего тебя назвали именно так, да есть ли такое имя в святцах, да как будет сокращенно…

Мадина так к этому привыкла, что уже и не пыталась отвечать на эти расспросы каким-нибудь внятным образом. А говорила, например: «Сокращенно будет Мадо. Как у Ремарка». И расспросы после этого обычно прекращались. Либо потому, что собеседник читал «Триумфальную арку», либо потому, что не читал.

Если же сказать правду, довольно, между прочим, незатейливую – что мама назвала ее Мадиной в честь лучшей подружки своих студенческих лет, – то за этим следовал целый поток вопросов: а откуда родом была подружка, а почему ее так звали, а где она теперь? Мадина этой маминой подружки в глаза не видала. Та вышла замуж сразу после института, и муж оказался суровый – не отпускал ее ни в какие самостоятельные поездки; так студенческая дружба и угасла. Поэтому мамина фантазия вызывала у Мадины только недоумение и даже обиду: зачем было осложнять ее жизнь такой вот экзотикой с восточным оттенком?

Но это была единственная обида, которую Мадина могла иметь на маму, и, в сущности, обида такая ерундовая, что ее можно было считать вовсе не существующей.

Да в обычной своей жизни Мадина об этом и не думала. Может, если бы она жила в большом городе и знакомилась каждый день с новыми людьми, то необходимость постоянно им что-то объяснять действовала бы на нее раздражающе. А в поселке Бегичево все и всех знали в лицо, даже приезжих. Мадина родилась в Бегичеве тридцать лет назад и уезжала отсюда только на те пять лет, которые училась в Твери на филфаке, но за те годы никто ее, конечно, не забыл. Да и родители ее никуда ведь не уезжали: как приехали в Бегичево по распределению после своих институтов, так и осели навсегда, и дом построили, и дочку родили, и деревьев посадили множество.

Так что думала Мадина совсем о других вещах.

Сейчас, например, она стояла у железнодорожного переезда и, ожидая, пока пройдет очередной бесконечный состав, думала, что вот мама затеяла шить ей к командировке блузочку и ужасно переживает от того, что может не успеть, потому что ей очень хочется, чтобы дочка выглядела в Москве необычно и непровинциально, а ручная работа – это ведь, Мадиночка, теперь очень модно, и все на тебя внимание обратят, вот увидишь.

Мадина улыбнулась. Мама относилась к ее неожиданной командировке как к дару небес. И даже стыдно кому-то сказать почему: надеялась, что дочка найдет в Москве свою судьбу и счастье, а попросту говоря – мужа. Возможность найти мужа на конференции библиотекарей, то есть, вернее, библиотекарш, хотя бы и в Москве, представлялась Мадине сомнительной. Но маме она об этом не сообщала. Родители так переживали из-за дочкиной личной неустроенности, так искренне считали, что неустроенность эту обязательно следует преодолеть, что разубеждать их в этом было бы просто безжалостно.

«Вагоны шли привычной линией, – подумала Мадина, глядя на громыхающий перед нею состав. – Подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели».

Думать так было для нее естественно и привычно; мир, очерченный стихами, казался ей точнее и правильнее обычного и обыденного мира. Правда, вслух она стихов не читала никогда, потому что слышать их большинству людей было как раз неестественно и непривычно. И зачем же ловить на себе недоуменные взгляды?

Никто, конечно, не пел в вагонах. Но линия их в самом деле была привычна, как череда времен года. Бегичево и появилось-то двести лет назад в лесах Тверской губернии лишь потому, что помещица Анна Васильевна Бегичева добилась, чтобы Московско-Виндавская железная дорога прошла по ее землям. И с тех пор поселок стал жить от железной дороги – работал на ней, выносил к ее поездам на продажу вареную картошку и яблоки, ездил в Москву, Питер и Тверь… Ожидание у железнодорожного переезда, пока пройдет очередной состав, было в Бегичеве таким привычным, таким повседневным занятием, что его никто и как ожидание не воспринимал.

Земля подрагивала вдоль рельсов, и летели вдоль дороги золотые ветки осенних берез – то ли от ветра, то ли от этого вот подрагивания земли.

Поезд прошел. Мадина перешла через затихающие рельсы и направилась вдоль усаженной березами улицы к дому.

Блузочка висела на деревянных плечиках, зацепленных за дверцу платяного шкафа, так что выглядела самым главным предметом в комнате. То ли потому, что была ярко-белой, то ли потому, что вся была пронизана маминой радостью.

– Ну как? – спросила мама, едва Мадина открыла дверь. – Такой ни у кого не будет!

– Это уж без сомнений, – кивнул папа.

Это утверждение было, конечно, отголоском времен всеобщего дефицита, то есть тех как раз времен, в которых прошла почти вся родительская жизнь. Мадина привыкла к другим временам, когда даже обычная турецкая блузочка с рынка едва ли могла в точности повториться на ком-нибудь из знакомых. Просто потому, что торговцы предусмотрительно не закупали одинаковых блузочек.

– Это наша бегичевская вышивка, – авторитетно разъяснил папа. – Видишь, нитка сперва вот таким жгутиком сворачивается, а потом уж этот жгутик на ткань нашивается. Так даже в соседнем уезде не вышивали.

Точно такая бегичевская вышивка была представлена в поселковом краеведческом музее, где папа, когда закончил работу в своем строительном управлении и вышел на пенсию, стал членом общественного совета. По его рекомендациям мама специально изучила эту вышивку получше и теперь вот использовала для дочкиной кофточки.

Папа собственноручно добыл для краеведческого музея многие экспонаты – кубышку из деревни Тархово, например. Кубышка вопреки Мадининым представлениям оказалась не бочонком, а глиняным кувшином с узеньким горлом. Папа купил ее у какой-то древней тарховской старушки и подарил музею.

– Почему про скупых говорят, что они деньги в кубышку складывают? – объяснял он. – Вот из-за такого узкого горлышка и говорят. Если в него деньги опустить, то обратно уже не вынешь.

Простые, изначальные вещи вызывали у папы уважение, смешанное с восторгом; его привлекала разумность их устройства.

Из-за бегичевской вышивки блузочка выглядела такой простенькой, такой незатейливой, что ее хотелось не надеть, а оплакать. Но говорить об этом маме Мадина, конечно, не стала.

– Спасибо, – улыбнулась она. – Ни у кого такой не будет точно.

Ее слова были вполне искренними, такими же, как и благодарность маме.

– Я тебе все уже перегладила, – сказала та. – Отбери только, что с собой возьмешь. Свитер, я считаю, обязательно. Дети в Интернете смотрели – в ближайшую неделю в Москве похолодает.

Мама работала в школе, поэтому в повседневной жизни вела себя продвинуто: знала, какие группы принято слушать, а какие нет, почем продали в «Реал» игрока «Зенита», и о погоде справлялась в Интернете, через учеников, правда.

– Ну что уж такого особенного отбирать? – пожала плечами Мадина. – Я же всего на три дня еду.

– Я твой чемодан уже вычистил, – включился в сборы папа. – В саду сохнет. Только молния вот-вот сломается. Вернешься – отдадим заменить.

Мадина всегда удивлялась, как можно придавать столько значения подобным мелочам. При этом ее родители вовсе не были мелочными. Они словно секрет какой-то знали – секрет правильных жизненных сочетаний. Сама она так и не смогла найти точного соотношения между главным в жизни и неглавным.

– А что такое Высшие дизайнерские курсы? – спросил папа.

– Понятия не имею, – пожала плечами Мадина.

– Но ты же будешь жить в их общежитии! – удивился он.

– Но учиться ведь я на этих курсах не собираюсь. Откуда мне знать, что это такое?

«Да и зачем мне это знать?» – подумала она.

Мир, в котором она жила и который кому угодно показался бы замкнутым, представлялся ей вполне обширным, и жизнь в этом мире не выглядела для нее однообразной.

– Они где-то в центре находятся. Большая Калужская – где это? – спросила мама. – Я завтра Сережу Семенова попрошу, чтобы на карте Москвы посмотрел. А может, он и так знает.

Сережа Семенов был ее любимый ученик. Он заканчивал одиннадцатый класс, собирался поступать на филфак МГУ, и мама всячески поощряла его в этом стремлении. Она когда-то и дочку уговорила пойти именно на филфак Тверского университета. Правда, особенно уговаривать не пришлось: Мадина не очень представляла, кем хочет быть, а читать любила всегда, вот и пошла учиться филологии.

– Ну, будем обедать, – сказала мама. – Игорь, вынеси Шарику супу, и садимся.

– Я вынесу, – сказала Мадина.

Она взяла кастрюльку, в которую мама всегда при готовке отливала бульон для Шарика. Пес был старый, и жирный борщ, любимый папой, ему был уже противопоказан, поэтому суп для Шарика готовился отдельно.

В саду осень чувствовалась еще яснее, чем на улицах Бегичева. Листья на яблонях уже начали облетать, и сад от этого сделался прозрачным, светлым. Между просветленными деревьями, совсем низко, пролетела сорока. Сороки, летающие по осеннему саду, почему-то всегда казались Мадине какими-то странными существами; их полет напоминал ей фантастический фильм. Хотя птицы ведь они были самые обыкновенные.

Мадина подошла к будке, позвала:

– Шарик, иди сюда.

Пес высунул из будки морду, потом медленно, с трудом вылез сам. Он давно уже не сидел на цепи, и его не раз пытались перевести на жительство в дом, но он хранил верность своей любимой будке, стоящей под старой антоновкой. Глаза у него всегда были печальные. Не от тяжелой жизни – она-то у него была, как говорила соседка Веневцовых, иным людям на зависть, – а просто так, от природы. А когда он состарился, глаза приобрели совсем уж трагическое выражение.

Мадина перелила бульон из кастрюльки в Шарикову миску, погладила пса по седой голове и подождала, пока он поест. Папа беспокоился, что Шарик от старости может подавиться, и, хотя мама разминала собачью еду вилкой, все-таки обычно ожидал окончания его обеда. И Мадина ожидала тоже.

Поев, Шарик благодарно потерся лбом о ее руку и полез обратно в будку. Когда шестнадцать лет назад папа подобрал щенка на станции, главной чертой его характера было любопытство. Он совал свой влажный черный нос во все щели – так, что однажды его даже прищемило мышеловкой, – и целыми днями бегал за Мадиной, интересуясь всеми ее делами. А теперь от

всего его долгого, целую собачью жизнь наполнившего интереса к хозяевам осталась только вот эта немножко равнодушная благодарность.

«Охлажденны лета, – подумала Мадина. – Вот такие они, значит, и есть».

Еще она подумала, что, может, когда Пушкин писал про годы старческой охлажденности, то тоже смотрел на какого-нибудь старого пса у себя в Михайловском. А может, и нет: стариков и среди людей ведь достаточно.

Вдоль садовой дорожки росли розы. Если осень выдавалась теплой, как в этом году, они цвели до ноября. Каждый раз, когда Мадина шла из сада в дом, то замечала рядом с большими облетающими цветами вновь раскрывающиеся бутоны – желтые, алые, бордовые. Из всего Бегичева только у них в саду розы цвели до самых заморозков, потому что мама любила с ними возиться и выращивала особенные сорта.

Стол к обеду был накрыт, то есть поверх вязаной скатерти покрыт прозрачной клеенкой, и на ней уже стояли тарелки. Посередине стола лежал в корзиночке черный хлеб. Он всегда был свежий, потому что хлебозавод находился рядом с домом и папа покупал хлеб каждый день, приходя точно к тому моменту, когда еще теплые буханки приносили в заводской магазин прямо из пекарни.

Мадина выросла среди множества таких вот чистых и ясных подробностей и не представляла без них своей жизни, да и жизни вообще.

– Хотела сегодня пирог испечь, да поленилась, – улыбнулась мама. – Вернее, с глажкой завозилась. Ну ничего, папа розанчики купил.

Булочки-розанчики тоже выпекались на хлебозаводе. Все московские дачники, которые в последние несколько лет как одержимые скупали дома в Бегичеве и окрестных деревнях, брали их да еще творожные булочки-венгерки десятками, уверяя, что ни в одной московской кондитерской ничего подобного уже не найдешь. То, что купленные утром розанчики черствели уже к вечеру, считалось одним из главных их достоинств. Это значило, что в тесто не добавляется никаких искусственных примесей, от которых оно могло бы не черстветь и не плесневеть по месяцу и больше.

Домашнего пирога сегодня к обеду не было, но компот был, конечно.

– У нас дома как во Франции, – сказала Мадина.

– Почему? – удивилась мама.

– Там не принято обедать без десерта.

– Я всегда считал, что французы знают толк в жизни, – кивнул папа. – И постоянно нахожу все новые тому подтверждения.

– У немцев тоже прекрасная выпечка, – заметила мама. – Кельнские кондитерские – это незабываемо!

В Кельн мама ездила в начале перестройки: немцы тогда во множестве приглашали школьных учителей для обмена опытом. Потом интерес к России постепенно угас, и учителей приглашать перестали, во всяком случае, из Бегичева. Впрочем, мама была уверена, что приглашают их по-прежнему, но уже из других мест.

– Ведь немцы очень последовательны, – объясняла она свою уверенность. – Конечно, не раз в их истории эта черта характера приводила к ужасным поступкам. Но теперь она нашла свое правильное место в их сознании.

Как устроено нынешнее немецкое сознание, Мадина знала только по книжкам. А следы немецкой последовательности присутствовали сплошь и рядом. И в Бегичеве, и в его окрестностях, и в соседних ржевских лесах бои и в сорок первом, и в сорок втором году были такие, что русские солдаты гибли целыми дивизиями.

На обед, кроме компота с розанчиками, был суп с клецками и жаркое.

– Ты куда торопишься? – спросила мама, сразу заметив, что дочка ест как-то слишком быстро.

Мама вообще замечала любые особенности ее поведения.

– Мне в библиотеку надо вернуться, – объяснила Мадина.

– Но ты ведь завтра уезжаешь, – удивился папа. – Неужели полдня на сборы не дадут?

– Па, зачем мне полдня? Вечером за час соберусь, – улыбнулась Мадина. – За полчаса даже. А у нас сейчас пополнение фондов, работы много.

Вообще-то, как только Мадина попадала домой, ей сразу и самой начинало казаться, что жизнь идет примерно вдвое неторопливее, чем во внешнем мире. Хотя и во внешнем мире Бегичева особой спешки ни в чем не наблюдалось.

– Зонтик возьми, – напомнила мама, когда, пообедав, Мадина уже стояла в дверях. – К вечеру дождь обещали.

Конечно, это иногда раздражало, но все-таки не слишком. Если ты у родителей поздний и единственный ребенок, то приходится быть готовой к тому, что они будут опекать тебя не только до своей, но и до твоей старости. И дай им бог на это здоровья!

– Возьму, – кивнула она. – Но дождь вряд ли будет. Туман только.

Ее зонтик был сломан, поэтому брать его с собой Мадина не собиралась. Но с родителями проще было согласиться, чем объяснять, почему ты с ними не согласна.

Она положила в сумку сломанный зонтик и вышла на улицу.

Глава 2

В библиотеку Мадина вошла, словно вынырнув из осеннего тумана. Это звучало, может, излишне красиво, но было именно так: туман окутал Бегичево сплошь, от поросших травой улиц до верхушек берез. В этом было даже какое-то событие – в таком неожиданном и таинственном тумане.

Мадина не зря спешила в библиотеку: ей не терпелось разобрать только что поступившие книги. Она даже запах их различала отдельно сквозь общий, привычный и любимый запах библиотеки. Тот, привычный, запах был – долгого чтения, которое давно стало частью жизни. А этот запах, новый, был совсем другой – какого-то будоражащего обещания.

Когда Мадина была маленькая, она приходила в библиотеку сразу после уроков и еще по дороге от школы – это была довольно долгая дорога, потому что автобус по Бегичеву не ходил ни тогда, ни теперь, – внутри у нее, в точности между сердцем и горлом, подрагивало счастье: вот сейчас, сейчас… Час или два она бродила между полками, выбирая книги, а потом, подпрыгивая от нетерпения, бежала домой и уже там читала до головокружения, до ночи, и засыпала с книжкой в руках.

Поэтому ей казалось, что в библиотеке прошла вся ее жизнь; да так, собственно, и было. И поэтому, окончив университет, она даже не попыталась устроиться в Твери, может быть, найти там какое-нибудь престижное занятие, а вернулась в Бегичево и пошла работать в районную библиотеку.

– Ой, Мадинка! – удивилась и обрадовалась Зоя, увидев Мадину в дверях. – А я думала, ты после обеда не придешь.

Мадина иногда думала, что Зоя чувствует себя на работе не как рыба, а как кошка, оказавшаяся в воде: вроде и плавает, не тонет, но уж слишком не свойственно ей такое занятие.

– Серию «Повседневная жизнь» как оформлять? – то ли спросила, то ли пожаловалась Зоя. – Как художественную или как документальную? Я думала, как документальную, а потом смотрю, там Ходасевича книжка. А Ходасевич – это же писатель?

– Писатель, – улыбнулась Мадина. – И даже поэт.

– Значит, как художественную. Или нет? – с сомнением произнесла Зоя.

– Сейчас разберемся, – успокоила ее Мадина.

«Надо будет папе их принести, – подумала она, листая новенькие, напечатанные на прекрасной белой бумаге книги из новой серии „Повседневная жизнь“ нового же московского издательства. – Он такое любит».

Она и сама любила «такое» – описания того, как жили люди сто лет назад в русских поместьях, или триста лет назад при дворе французских королей, или как живут они сейчас в Латинском квартале. От того, что обыденная жизнь этих людей попадала в книжки, она переставала быть обыденной, наполнялась особенным смыслом. Или она и была таким смыслом наполнена, потому и в книжках не тускнела?

Мадина разбирала книги, вынимая их из картонных коробок, записывала, описывала; стопка росла на ее столе. Это занятие увлекло ее необыкновенно! Погрузившись в особенную книжную жизнь, она не заметила, как светлый золотящийся туман за окном сначала потускнел, потом стал сизым и наконец превратился в вечерний сумрак.

– Мадин… – Зоя заглянула за стеллажи, за которыми стоял Мадинин стол. – Я пойду? Семь часов уже. Если что, Наташа в читальном зале. Позовешь, она поможет.

– Конечно, иди, – поднимая от книжек туманные глаза, кивнула Мадина. – И зачем помогать? Я уже почти закончила.

– Везет тебе, завтра в Москве будешь, – сказала Зоя. В ее голосе не прозвучало, впрочем, ни тени зависти. Понятно же, что на московскую конференцию следовало послать лучшего

представителя их библиотеки; Мадину и послали. – Крем мне купить не забудь. Только какой-нибудь такой, знаешь, необыкновенный, которого у нас тут нету. И чтобы для стареющей кожи был.

– Ладно, – кивнула Мадина. – Только разве у тебя кожа стареет?

– Да уж не молодеет, – усмехнулась Зоя. – Тридцатник стукнул. Ужас! И как ты не боишься только? – с каким-то опасливым удивлением добавила она.

– Не знаю, – пожала плечами Мадина. – Ну да, и мне тридцать. Но я этого как-то не чувствую. Из-за библиотеки, может, – улыбнулась она.

Мадина ничуть не лукавила. Стоило ей оказаться в библиотеке, и она чувствовала себя точно так же, как десять лет назад, и пятнадцать лет назад, и двадцать… В таком постоянстве самоощущения было что-то завораживающее. Во всяком случае, Мадине нравилось плавать по своему возрасту свободно и нестесненно. А ее родителей это как раз и пугало.

– Ну, счастливо тебе, – помахала рукой Зоя. И, подмигнув, добавила: – Смотри не скучай там. А то заберешься в Третьяковку какую-нибудь и Москвы толком не увидишь.

– Третьяковка тоже в Москве, – улыбнулась Мадина.

– В Москве и поинтересней кое-что есть. По крайней мере, поновее.

Зоя скрылась за стеллажами; хлопнула, закрываясь за нею, дверь.

«Так оно и есть, – подумала Мадина. – Конечно, так и есть. Но что же делать, если мне и без этого нового-интересного хорошо?»

Эта была очень простая и в простоте своей смущающая правда. Мадина в самом деле не понимала, почему где-нибудь в ночном клубе за коктейлем «Мохито» ей должно быть интереснее, чем в своей тихой комнате за книжкой. И от одного только взгляда на какую-нибудь компьютерную игру, даже, как считалось, интеллектуальную, а не примитивную стрелялку, у нее начинала болеть голова и она не могла представить, чем может увлечь это однообразное мельтешение на мониторе. А такое увлекательное занятие, как шопинг, который, как уверяли все глянцевые журналы и все ее подружки, непременно поднимает женщине настроение, – выматывал ее так, что даже после недолгого похода по магазинам ноги-руки у нее слабели, будто после болезни.

Конечно, она была синим чулком. Типичным! Мадина прекрасно это сознавала. Но ни малейшего сожаления по этому поводу не испытывала. В конце концов, все люди разные. И кто сказал, что быть синим чулком хуже, чем задавленной жизнью матерью недружного семейства или, к примеру, женой олигарха, которые, как пишут в книжках их соседки по рублевским особнякам, погибают от скуки в своих золотых клетках?

Все в мире не относительное, а такое, каким мы его видим. И если тебя устраивает твоя жизнь и участь, то не все ли тебе равно, как относятся к этому окружающие?

Мадина просидела в библиотеке до самого закрытия и вышла на улицу вместе с Наташей, которая работала в читальном зале.

– Столько людей сегодня было! – вздохнула та, запирая входную дверь. – И сидят, и сидят… Казалось бы, полистай быстренько газеты, набери книжек на абонементе да и читай себе дома.

– Людям здесь хочется читать, – пожала плечами Мадина. – Там, где чисто, светло.

– Можно подумать, у них дома темно! – фыркнула Наташа.

Что «Там, где чисто, светло» называется рассказ Хемингуэя, Мадина уточнять не стала. Люди не любят, когда им указывают на их незнание и ставят их таким образом в неловкое положение; она старалась этого не делать.

Они с Наташей простились у поворота. Мадина пошла к себе, за железнодорожные пути, в Завеличье. А Наташа жила на соседней с библиотекой улице. Только потому в библиотеке и работала.

«И правда ведь завтра в Москве буду, – думала Мадина, глядя, как исчезают в темноте огоньки экспресса Санкт-Петербург – Москва; в Бегичеве он не останавливался. – Все-таки событие».

Это было не просто событие, а событие из тех, которые давно уже стали в ее жизни редкостью и к которым она перестала поэтому стремиться. Конечно, считается, что человек сам творит свою судьбу и, для того чтобы быть счастливым, надо совершать решительные поступки и стремиться изменить свою жизнь. Но кто знает, в чем оно, счастье? И не оттого ли миллионы людей не чувствуют себя счастливыми, что составили для себя какое-то общее, абстрактное представление о каком-то абстрактном же, якобы для всех годящемся счастье и, не находя его в своей жизни, не замечают ее прекрасного, только лично для них предназначенного течения?

Мадина к таким людям не относилась. Ей нравилась ее жизнь, и она чувствовала себя в ней гармонично.

Глава 3

Мадина помнила, как остро изумляло ее с самого детства одно удивительное московское свойство. Девочкой она не понимала, как такое может быть, что проведешь в поезде всего три часа, даже проголодаться не успеешь, и выйдешь из вагона в другую жизнь. Совершенно в другую!

Москва была другая. Какая, этого Мадина не знала. Но другая, совсем другая. Отличие московской жизни от бегичевской не надо было даже осмыслять, оно ощущалось просто физически.

Правда, осмыслять такие вот отвлеченные вещи у Мадины на этот раз и времени не было. Она уставала от московского ритма и московских расстояний, и поэтому самая обыкновенная конференция библиотекарей – с докладами, по ее представлениям, скучноватыми, с разговорами в курилке и прочими атрибутами подобных мероприятий, – утомила ее так, словно была марафонской дистанцией.

К тому же следовало найти время для похода по магазинам, и об этом Мадина думала с унынием: от магазинов она уставала всегда, не только в Москве. Она не любила разговоров об энергетике, ауре, карме и прочих неясных материях, к которым почему-то испытывает особый интерес поверхностное сознание, но, когда ей время от времени приходилось покупать одежду, готова была поверить в любые энергетические штучки. Вещи, самые обыкновенные вещи, висящие на кронштейнах или лежащие на магазинных полках, выматывали Мадину так, словно одним лишь прикосновением к ним вытягивались все ее силы. Поэтому она старалась избегать походов по магазинам, насколько это было возможно.

Но не устроить сейчас такой поход не представлялось возможным уже потому, что никто в их семье не возвращался из поездок без подарков, притом не случайных подарков, купленных впопыхах, а таких, которые доставляли бы радость. Да и Зое она пообещала же купить какой-нибудь необыкновенный, только в Москве продающийся крем.

Обещание это Мадина считала теперь опрометчивым. Ну откуда ей знать, какой крем обыкновенный, а какой нет? Кремами она не пользовалась совсем – не потому, что была какой-нибудь особенной поборницей естественности, а потому, что не испытывала в этом необходимости. Вода в Бегичеве была мягкая, без примесей железа и известняка, к тому же в саду стояла баня, и распаренный березовый веник казался Мадине лучшим косметическим средством; кожа после него становилась младенческой, ее просто грех было вымазывать кремами.

И что именно следует купить Зое, она не представляла.

Поэтому магазин «Косметика ручной работы», который Мадина увидела на Тверской улице, оказался очень кстати. Магазина с таким названием в Бегичеве не было точно.

Магазинчик был небольшой, даже тесный, но, едва войдя в него, Мадина поняла, что он до невозможности дорогой. Впрочем, в трех шагах от Кремля и не могло быть дешевых магазинов, и Мадина это знала, когда отправлялась на Тверскую в поисках Зоиного крема. Но этот магазинчик выглядел уж очень необычно, вот ей и захотелось сюда зайти.

По его стенам тянулись открытые деревянные полки, на которых была расставлена и разложена косметика – разнообразная, но вся сплошь странная. На больших фаянсовых блюдах, как в какой-нибудь старинной лавке колониальных товаров, лежали огромные куски мыла – коричневые, желтые, зеленые, розовые, синие, оранжевые, белые. У Мадины в глазах зарябило от многоцветья, к тому же каждый кусок источал свой особенный запах, и от их обилия кружилась голова. Как раз когда она вошла в магазин – дверь при этом звякнула медным колокольчиком, – маленькая продавщица в длинном льняном переднике отрезала от одного из этих кусков маленький кусочек и заворачивала его в переливчатую, как шелк, бумагу. Пока Мадина разглядывала полки, продавщица положила сверток с мылом еще и в пакетик, тоже шелковистый,

и протянула его покупательнице, высокой девушке с таким холеным лицом, что не приходилось сомневаться: такие девушки дешевую косметику не покупают. На девушке был серебряный шуршащий плащ, как на фее из сказки. Только вряд ли у сказочной феи мог быть такой холодный и надменный взгляд. Даже ее высокие тонкие каблуки сверкали резким и жестким блеском, словно в них были сделаны какие-нибудь особенные металлические вкрапления.

Мадина проводила серебряную фею взглядом и снова принялась осматривать здешние необычайные товары.

Повыше блюд с кусками мыла стояли стеклянные вазы, наполненные разноцветными шарами и шариками. Еще повыше – другие вазы, уже с какой-то воздушной стружкой. Были здесь и большие флаконы с разноцветными жидкостями, и коробки, обитые шелком и доверху наполненные морскими звездами, сделанными из непонятного материала, и фарфоровые банки, крышки с которых были сняты, открывая загадочное содержимое – то ли крем, то ли какую-то смесь с мелкими темными зернышками.

Мадина разглядывала все это с открытым ртом, как ребенок, попавший в волшебные чертоги. Она и не предполагала, что обычный магазин косметики может вызвать у нее такое изумление!

– Я могу вам чем-нибудь помочь?

Маленькая продавщица подошла теперь к ней. К ее длинному фартуку был приколот значок с именем – Надя. Вообще-то Мадина смущалась каждый раз, когда слышала подобное предложение. Может, потому, что ей редко случалось это слышать, но она так и не привыкла к такому вот, на европейский лад, предупредительному магазинному общению. Да в Бегичеве его и не было вообще-то.

Надя, смотревшая на нее с доброжелательной улыбкой, несомненно, усвоила именно европейские стандарты торговли. Улыбка ее, впрочем, казалась вполне искренней, нисколько не натянутой.

– Я не знаю… – пробормотала Мадина. – То есть, вернее, мне нужен крем. Для стареющей кожи.

– Для вашей? – удивленно спросила Надя.

– Нет. Подружка попросила.

– Тогда возьмите вот этот! – радостно предложила Надя. – Он из свежих груш и меда. Питает кожу в течение целого дня, а потом…

Она щебетала без умолку, описывая несравненный эффект, производимый кремом, Мадина слушала, кивала и со все возрастающим удивлением ловила себя на том, что вся эта рекламная болтовня не утомляет ее, не раздражает, а увлекает и даже восхищает. И это тоже было то самое другое, которым вся сплошь была Москва. Какая-то другая жизнь, другие возможности, другие радости… И как же она раньше не обращала внимания на этот необыкновенный мир, состоящий из таких увлекательных мелочей?

– Я возьму его, – кивнула Мадина, когда Надя замолчала.

Та немедленно и ловко извлекла откуда-то маленькую баночку, фарфоровой лопаточкой набрала крем из большой банки и положила его туда.

– Вот, с горкой, – сказала она, улыбаясь. – Вашей подруге понравится. Ну а себе?

– Что – себе? – спросила Мадина.

– Себе ведь тоже надо что-нибудь купить.

– Зачем? – не поняла она.

– Чтобы обрадоваться, – как само собой разумеющееся объяснила Надя.

– Обрадоваться? – недоуменно переспросила Мадина.

И тут же поняла, что ей этого хочется и, главное, что это возможно. Она действительно может обрадоваться оттого, что купит в этом необыкновенном магазине какой-нибудь волшебный крем, или непонятный шар, вот хоть этот, с золотистыми искрами, или кусочек оливко-

вого мыла, который ей отрежут от большого куска, лежащего на фаянсовом блюде, и завернут в шелковистую бумагу… И стоило ей об этом подумать, как желание купить что-нибудь вот такое, необыкновенное, никогда ею прежде не виданное и не желаемое, стало таким сильным, что у нее даже голова закружилась – сильнее, чем от обилия запахов, наполнявших магазин.

– Д-да… – пробормотала Мадина. – Я хочу… что-нибудь.

Это желание было таким неожиданным, что она испугалась его.

– Возьмите мыло, – доверительным тоном посоветовала Надя. – Оно совершенно натуральное, таким наши бабушки мылись. То есть, наверное, не наши, а каких-нибудь английских лордов. И еще… Знаете, вам обязательно надо взять бальзам для губ.

– Почему именно для губ? – улыбнувшись, спросила Мадина.

Она потихоньку стала приходить в себя. Жгучее желание непременно купить что-нибудь необычное не то чтобы ушло, но сменилось более простым чувством – любопытством.

– Губы никогда не будут трескаться, – объяснила Надя. – А скоро ведь зима. Но главное даже не в этом.

– А в чем? – спросила Мадина.

При этом она с удивлением отметила, что сердце у нее замерло так, словно продавщица Надя в самом деле могла сообщить ей что-то главное, такое, чего она никогда прежде не знала.

– Главное, что мужчины теряют голову, когда у вас на губах этот бальзам.

– Но я… – начала было Мадина.

И замолчала. Ей неловко было признаться этой улыбающейся, говорящей доверительным тоном девушке, что у нее нет мужчины, который мог бы потерять голову от запаха ее губ. Никогда Мадина не чувствовала по этому поводу ни сожаления, ни тем более неловкости, а теперь вот почувствовала, и у нее даже щеки вспыхнули.

– Вы попробуйте! – горячо проговорила Надя; кажется, она не поняла причину Мадининого смущения. – Вот этот возьмите, «Яблочный поцелуй». Попробуйте. – С этими словами она поднесла к Мадининым губам нежно-зеленую бумажную полоску. – Намажьте, намажьте. Ну как?

Мадине в самом деле показалось, что она надкусила яблоко, настоящее, осеннее, крепкое, только что снятое с дерева в саду и еще не утратившее своего живого запаха.

– Необыкновенно! – с чувством ответила она.

– Я же вам говорила! – торжествующе воскликнула Надя. – А есть еще «Жасминовый поцелуй». И «Сиреневый поцелуй». И…

– Хватит, хватит, – улыбнулась Мадина. – Я возьму. И яблочный, и жасминовый, и сиреневый тоже. Хотя я и не…

– Что – вы не? – спросила Надя.

– Ничего.

– И еще вам надо взять пенные бомбы, – тут же заявила Надя. – Можно такие же – жасминовые, яблочные. Вот эти. – Она показала на лежащие в стеклянных вазах шары, о назначении которых Мадина не успела догадаться. – Бросаете в ванну, наслаждаетесь – от них вода как газировка делается, знаете, как приятно пузырьки покалывают? – а потом все тело пахнет так же, как и губы. Со всеми вытекающими последствиями в личной жизни, – с многообещающей улыбкой добавила она.

В бегичевском доме ванны не было, только душ и баня. Но Мадина взяла и пенные бомбы: очень уж ловко Надя укладывала каждую из них в шелковый пакетик. И бальзамы для губ взяла – все эти завораживающе разнообразные поцелуи. Она вообще чувствовала себя завороженной, и маленький магазинчик, в который то и дело входили покупатели, казался ей зачарованным царством.

Сумма, которая значилась на чеке, показалась Мадине такой заоблачной, что она уж подумала, правильно ли сосчитала количество нулей. Но, отдавая эти немыслимые деньги за

небольшой благоухающий пакет, она не чувствовала ни малейшего сожаления. Какое там! Мадина вышла из магазина какой-то… совершенно преображенной. Ну да, именно так, хотя ничего ведь в ней не изменилось от того, что она пересмотрела и перенюхала все эти необыкновенные штучки. Разве что губы еле ощутимо пахли осенними яблоками.

Но то, что с нею произошло, то, что всколыхнулось, сдвинулось, взорвалось у нее внутри, было совершенно ошеломляющим. И, стоя посреди Тверской улицы, которая уже начинала посверкивать первыми вечерними огнями, светиться по-европейски богатыми витринами, Мадина чувствовала растерянность и смятение.

Впрочем, предаваться этим ощущениям слишком долго ей все-таки было некогда. Конференция еще не закончилась, и надо было успеть вернуться в Тушино, где эта конференция проходила, к вечернему заседанию, на которое был назначен Мадинин доклад о формировании библиотечных фондов как важном факторе влияния на круг чтения.

«Фонды? – с каким-то недоумением, почти удивлением подумала она. – Круг чтения?»

Эти слова вдруг показались ей странными, несуществующими. Хотя вся ее жизнь шла ведь в этом тихом кругу – чтения, одиноких размышлений, – и у нее никогда не возникало ощущения, что жизнь ее проходит не так, как следовало бы.

Она тряхнула головой, то ли прогоняя некстати пришедшие мысли, то ли возвращая себя в свой привычный мир, и торопливо пошла к Пушкинской площади, к метро.

Глава 4

Мадина сидела на подоконнике в конце общежитского коридора и смотрела на Нескучный сад, переливающийся внизу вечерним осенним золотом. Фонари просвечивали сад насквозь, и она уже полчаса, не меньше, бродила взглядом по его пустынным аллеям.

Хотя конференция и проходила в Тушине, ее участников поселили в самом центре – вот здесь, на берегу Москвы-реки, напротив Нескучного сада. У устроителей было какое-то знакомство с начальством общежития, принадлежащего Высшим дизайнерским курсам, и аренда жилья обошлась им дешево, несмотря на его дорогое местоположение.

Мадина чувствовала растерянность, рассеянность и тревогу, и оттого, что все эти чувства не имели внятной причины, они лишь усиливались.

Она смотрела вниз, фонари над аллеями Нескучного сада расплывались у нее в глазах, дробились, множились, и от этого почему-то усиливался ее сердечный трепет и горел лоб, прижатый к холодному оконному стеклу.

– Извините, – вдруг услышала она у себя за спиной, – можно я тут на минутку присяду?

От неожиданности Мадина вздрогнула, ударилась лбом о стекло и обернулась. Молодой человек, стоящий перед ней, уткнулся взглядом в большой альбом, который держал в руках, и, кажется, не совсем даже понимал, к кому и зачем обращается. Куда он собирался присесть и почему для этого требовалось чье-либо разрешение, было непонятно.

– Пожалуйста, – сказала Мадина, спрыгивая с подоконника и делая шаг в сторону.

«Может, он на подоконник сесть хочет?» – подумала она.

Но молодой человек присел не на подоконник, а просто на корточки. Присел возле холодного радиатора, положил альбом себе на колени и погрузился в его разглядывание, совершенно не замечая ничего вокруг. Что Мадинины колени оказались при этом возле его головы, он не заметил тоже.

Мадина хотела отойти еще подальше в сторонку, чтобы не мешать странному молодому человеку, но сделать это незаметно не удалось: стоило ей двинуться с места, как ее колено коснулось его виска. Мадина отпрянула обратно, ударившись локтем о край оконного проема, а молодой человек поднял руку и потер висок с той же великолепной безучастностью, с какой только что присел на корточки под окном.

Мадина стояла, прижавшись к подоконнику, у ее ног маячила светлая макушка, плечи в черном свитере и разноцветный альбом, она чувствовала себя круглой идиоткой, и вместе с тем ей почему-то было смешно.

– Что вы изучаете, можно узнать? – спросила она.

Надо же было хоть что-нибудь произнести, не усугублять же свой идиотизм еще и благоговейным молчанием! К тому же она решила, что, услышав громкий голос, молодой человек, может быть, оторвется от своего занятия и заметит нелепость положения, в котором она по его милости оказалась.

– Морфогенезис частоты, – ответил он.

Удивительным образом у него работала только одна часть внимания – та, что была связана со слухом; внимание, связанное со зрительным восприятием посторонних предметов, было полностью отключено. Одним из таких посторонних предметов была Мадина – отвечая на ее вопрос, молодой человек так на нее и не взглянул.

– Что-что? – переспросила она. – Что – частоты?

– Морфогенезис, – повторил он.

И наконец поднял на Мадину глаза. Не факт, впрочем, что он ее при этом увидел: в глазах клубился светлый туман. Он смотрел на нее снизу вверх, по-прежнему сидя на корточках, и в его взгляде не было ни тени удивления.

– Морфогенезис? Это что такое? – с некоторой оторопью спросила Мадина.

Ей неловко было задавать глупые в своей настойчивости вопросы, но желание узнать, что же может привлечь внимание так сильно, чтобы человек напрочь забыл о внешнем мире, все-таки победило. Хотя человек этот был совершенно посторонний, и что уж там привлекает его внимание, вообще-то не должно было ее волновать.

– Это как рождается эмбрион звука, – нисколько не удивившись ее вопросу, ответил он. – Как он рождается и как потом живет. Его пульсирующее существование.

Мадина перевела взгляд с его лица на альбом. Ничего похожего на термины из физики на страницах этого альбома не было. Скорее, то, что было там изображено, напоминало абстрактную живопись.

– Это у вас что-нибудь по физике? – все же поинтересовалась она.

– Нет, – улыбнулся он. – По анимации.

Его реакции были непредсказуемы: он отвечал на вопросы, которых, казалось, не мог слышать, и улыбался вопросам, в которых не содержалось ничего смешного. Но сама его улыбка была так хороша, что Мадина улыбнулась тоже.

– Понятно, – кивнула она, хотя ничего ей понятно не было. – Извините, вы не позволите мне отойти от подоконника? Я не хочу вам мешать.

– Вы мне нисколько не мешаете, – сказал он. – Если хотите, можете тоже присесть и посмотреть.

В его голосе не слышалось ни тени приказа или хотя бы указания; его тон был так же прост и прям, как и взгляд. Но Мадина тут же присела на корточки рядом с ним – так, словно этот погруженный неизвестно во что человек в самом деле приказал ей это сделать.

– Вот, смотрите, – сказал он. – Это последовательные кадры из анимационного фильма. Сначала рождается эмбрион звука. Потом он становится графической линией, своего рода звуковой феерией. Положим, музыкой Шнитке. Видите, вот это стаккато. Клавиши не выдерживают и взлетают.

Он вел пальцем по странице альбома, и Мадина не отрываясь следила за движением его пальца – длинного, крепкого и широкого в суставах. Почему-то это движение действовало на нее так завораживающе, что она не очень замечала даже сами картинки.

– И музыка взлетает вслед за клавишами, – тем временем продолжал он. – Сначала в виде бабочки. Потом она превращается в воздушного змея. Потом проныривает в ухо и через него – в глубь сознания.

То, что он говорил, было необычно, странно, даже как-то тревожно. Но его палец двигался по картинкам с той же простотой, с какой звучал его голос и клубился в его глазах туман непонятного ей воодушевления.

– Вы здесь живете? – вдруг спросил он.

Похоже, его мысль развивалась очень прихотливо, и конкретное легко перемежалось в его голове с отвлеченным.

– Да, – ответила Мадина. – То есть нет. Я здесь до завтра только живу.

– Жаль, – сказал он.

– Почему? – улыбнулась Мадина.

Он говорил так искренне, что можно было поверить, будто он в самом деле об этом сожалеет.

– Я оставил бы у вас альбом, – объяснил он. – Принес приятелю вернуть, а его нету. Когда появится, неизвестно. Может, в мастерской у кого-нибудь завис, тогда это надолго.

– И вы больше никого здесь не знаете? – спросила Мадина.

– Да всех почти знаю. Но оставлять им уязвимые вещи нельзя. Потеряют, зачитают, вином обольют. Ненадежный всё народ.

Он снова улыбнулся своей прекрасной улыбкой, такой же простой и необыкновенной, как его слова про уязвимые вещи.

– Но как же вы у меня альбом оставили бы? – Мадина тоже не смогла сдержать улыбку. – Меня-то вы и совсем не знаете. Вдруг я его тоже чем-нибудь оболью?

– Да нет, – сказал он. – Понятно, что вы этого не сделаете.

– Когда это вы успели такое понять? – удивилась Мадина. – Вы со мной и пяти минут не разговаривали.

«И даже как меня зовут, не знаете», – подумала она.

И тут же поняла, что ей хочется знать, как зовут его. Как его зовут, чем он занимается, куда сейчас пойдет, а главное, придет ли снова. То есть увидит ли она его снова. Это понимание так ошеломило Мадину, что улыбка сползла с ее лица.

– Это понятно с первого взгляда, – пожал плечами он.

И она легко поверила его словам. Потому что ей тоже что-то было понятно о нем с первого взгляда. Только ее такое неожиданное понимание испугало.

Она сидела рядом с ним на корточках, касаясь плечом его плеча, и что-то необъяснимое, очень сильное, прежде неведомое происходило с ней при этом.

– Ладно, – сказал он и поднялся на ноги. Мадина чуть не упала, но он быстро положил руку ей на плечо и упасть не дал. Она вышла из комнаты в халате и сквозь неплотную поплиновую ткань почувствовала тепло его ладони. – В другой раз зайду. Игорь сам виноват, вот и потерпит без альбома. Тем более я его еще и рассмотреть толком не успел.

– А что это за альбом?

Она тоже встала. Теперь его глаза были прямо напротив ее глаз, и он смотрел ей в глаза прямо, как смотрели в окно деревья.

– Кадры из анимационных фильмов, – ответил он. – Этот альбом после фестиваля выпустили. Ну, я пойду. Проводите меня?

Он спросил об этом не тем снисходительным тоном, который содержит в себе утвердительный, поддерживаемый самоуверенностью спрашивающего ответ. Но и робкой неуверенности в его вопросе не слышалось. Это был просто вопрос о том, как оно теперь будет: сможет ли она, захочет ли его проводить?

– Да, – сказала Мадина. – Я только оденусь. Вы подождете?

– Конечно, – кивнул он.

Когда Мадина вошла – не вошла, а вбежала, влетела – в комнату и остановилась на пороге, ее соседки пили чай с вином. То есть, конечно, не чай с вином, а чай отдельно, вино отдельно. Это она почему-то заметила; смятенное сознание всегда замечает и отмечает неважные вещи. Она хотела снять халат, но руки у нее дрожали и движения были такими бестолковыми и беспомощными, что переодеваться она не стала. К тому же для того, чтобы это сделать, надо было не застыть на пороге, а войти в комнату, открыть свою сумку, выбрать, что надеть, при этом отвечать на вопросы соседок о том, куда и зачем она собирается на ночь глядя… Мадина не представляла, как она все это проделает. Поэтому она просто сняла с вешалки свое пальто, сбросила тапочки, нырнула в туфли, чуть не перепутав правую с левой, и выбежала обратно в коридор быстрее, чем нагнали ее неизбежные вопросы – куда и зачем…

Она не знала, что на них отвечать.

В кармане пальто лежала маленькая баночка; Мадина нащупала ее случайно, когда заталкивала в карман выпавшую из него перчатку. Она достала баночку, повертела в руке. Это был бальзам «Яблочный поцелуй». Когда она вынула его из бумажного пакета, зачем положила в карман пальто? Мадина отвернула крышечку, коснулась пальцем крема, потом губ… Ей показалось, что запах яблок плывет вокруг нее, как облако.

– Так быстро?

Он по-прежнему стоял у подоконника, но альбом уже не рассматривал, а держал под мышкой.

– Да, – кивнула Мадина.

– А голова у вас не замерзнет? – спросил он. – Хотя вообще-то у вас волосы такие, что ничего.

Она машинально коснулась ладонью своих волос – может, растрепанные? Но они просто лежали на плечах.

– А вы сами-то не замерзнете? – спросила Мадина, когда он открыл перед ней тяжелую входную дверь. – Вы и без пальто даже, не то что без шапки.

– Ничего, – сказал он. – У меня такая особенность организма – вообще не мерзну. Ну, может, в каких-нибудь экстремальных условиях и замерз бы, – улыбнулся он. – В диких степях Забайкалья, что ли. Но в городе – ничего.

Песню про дикие степи Забайкалья, по которым бродяга тащился, судьбу проклиная, очень любил папа. Его предки были родом как раз оттуда, из Даурии, и он, с его вечным интересом ко всему этнографическому, много знал забайкальских песен, не только эту, самую известную. Когда Мадина была маленькая, у нее сердце замирало от слов: «Пред ним простирался Байкал», хотя она и до сих пор не объяснила бы, что такого особенного было в этих словах.

– К тому же я здесь рядом живу, – добавил ее спутник. – Прямо возле Нескучного сада. Кстати, – вдруг предложил он, – если вам не холодно, можем через него и пройти.

– Мне не холодно, – сказала Мадина. – Но сад же на ночь закрыт, наверное.

– Ну, в любом заборе всегда найдется дырка, – улыбнулся он. – Да, вот это правильно будет: мы с вами по саду погуляем, а потом я вас обратно провожу. А то что-то я странное ляпнул – чтобы вы меня проводили. Меня зовут Альгердас.

– Красивое имя.

– Обычно все переспрашивают: «Как-как?»

– Я не переспрашиваю, – улыбнулась она. – Потому что меня саму вечно переспрашивают. Меня Мадина зовут.

– Ух ты! – восхитился он. – Никогда такого имени не слышал.

Туман, который клубился в его глазах, когда он разглядывал альбом, уже совершенно развеялся. Теперь глаза у него были ясные, и прямота его взгляда была от этого особенно заметна.

– Я и сама не слышала, – сказала Мадина. – Даже не знаю, чье оно. Какое-то восточное. А у вас литовское.

– Ну да, – кивнул он. – Довольно смешная традиция, давать сыновьям литовские имена.

– Что смешного? – удивилась Мадина.

– То, что последним литовцем в роду был мой прапрадед. Он что-то еще не до революции даже, а до Первой мировой войны из Вильно в Москву перебрался. Женился на дочке московского профессора и застрял здесь навек. Но впоследствии выяснилась такая интересная особенность биографии, что первенцами в семье всегда оказывались сыновья. И, конечно, вся родня говорила: ну как при фамилии Будинас назвать мальчика Васей? Глупо будет звучать. Назовем уж Эймантас. Или Гедиминас. Или Альгердас вот. Так оно сто лет и тянется.

– Все равно красиво, – сказала Мадина. – А сокращенно как будет?

Она тут же смутилась чуть не до слез. Какое ей дело, как звучит его имя сокращенно? Он теперь подумает, что она не собирается ограничивать знакомство с ним вот этой вот вечерней прогулкой! А он ведь ей никакого продолжения не делал.

– Сокращенно как хотят, так и называют, – сказал он. – Гердом, например. Кому что в голову взбредет.

Глава 5

В решетке Нескучного сада обнаружился выломанный прут. Альгердас отодвинул его и, забравшись в сад, помог проскользнуть в проем и Мадине. Ощущение нереальности происходящего не оставляло ее. Пустынный сад, залитые фонарным и лунным светом аллеи, белые от этого света полуоблетевшие деревья, светлые даже в темноте глаза Альгердаса, тепло его руки, держащей ее за руку, когда она пробиралась сквозь проем в решетке… Все это и создавало ощущение нереальности. Но вместе с тем – такое же отчетливое ощущение простоты и счастья. Мира, в котором она жила до сих пор, больше не существовало. Нет, он не исчез, но вот именно заполнился счастьем. И в этой непривычной, необычной, невиданной его наполненности она плыла, как в прозрачной воде.

– А про какой фестиваль вы говорили? – спросила Мадина.

Ей показалось, что если она помолчит еще минуту, то не выдержит и непонятно отчего заплачет. И еще ей очень хотелось услышать его голос. Ей все время хотелось его слышать.

– Про анимационный, – ответил Альгердас. У Мадины сердце дрогнуло от его голоса точно так же, как от слов старой забайкальской песни. – Этот фестиваль каждый год проводят. Сажают человек сто киношников на теплоход и везут по реке. В этом году мы по Волге плыли. От Москвы до Ярославля, Рыбинска, ну и так далее.

В первые мгновения, когда он начал говорить, Мадина не понимала смысла его слов, только вслушивалась в его голос. Но интонации его голоса были так просты и ясны, что она успокоилась и слова стала понимать тоже.

– Хорошо как! – сказала она. – Плыть и плыть по реке… Лучше, чем в гостинице жить и ходить на заседания.

– Может, и лучше. Но главным образом просто дешевле, – объяснил Альгердас. – Такую ораву в гостинице поселить – это сколько ж денег нужно? А корабль раз, снял – и плыви себе. И слушай, смотри, чего умные люди за год навыдумывали. Все равно деваться некуда. Как с подводной лодки. Тем более народ не скучный. Один раз заштормило что-то, – вспомнил он. – Мы со стульев все попадали. И дальше уже в упоре лежа разговаривали. Никто и внимания не обратил, по-моему.

Мадина вспомнила, как он сидел на корточках под подоконником, рассматривая альбом, и мысленно согласилась: конечно, если все на том корабле были такие, как он, то никто не заметил, что разговор продолжается в упоре лежа. Альгердас был из каких-то таких людей, которых она прежде не знала.

За разговором с ним она не заметила, как они вышли на широкую аллею и оказались прямо перед трехэтажным, с арочными окнами дворцом. Он был ярко освещен, и от этого становилась особенно отчетливой простота его классических линий.

– Красиво как! – сказала Мадина.

– А вы здесь что, никогда не были? – удивился Альгердас.

– Я же не в Москве живу, – извиняющимся тоном объяснила она.

Конечно, если бы она жила в Москве, было бы странно ни разу не побывать в Нескучном саду. Да и вообще это было странно: все-таки она приезжала в Москву не так уж редко и бывала во всех ее местах, которые принято называть достопримечательностями. Но в них во всех она бывала одна. А ведь одно дело пойти в одиночестве в Третьяковку, и совсем другое – предпринять какую-нибудь одинокую прогулку по улице, пусть даже и по историческому саду. Гулять одной – от этого все-таки становится не по себе. Потому в Нескучном саду Мадина никогда не была.

Они обошли дворец и двинулись в глубь сада – туда, где аллеи превращались в неширокие тропинки между деревьями.

– Я как раз в этот приезд собиралась сюда пойти, – поспешно соврала Мадина. – Думала, может, завтра успею.

– Вот и успели, – сказал Альгердас. – Теперь уже завтра. Первый час ночи.

– Где вы увидели?

Мадина завертела головой и заметила большие смешные часы, украшенные двумя сердечками. Часы показывали без пяти шесть.

– Не на этих, – проследив за ее взглядом, улыбнулся Альгердас. – Там возле дворца другие были. А эти часы так, для влюбленных повесили. На них всегда без пяти шесть. Получается, что на свидание никто никогда не опаздывает. Такой приятный самообман. А вы замерзли, – вдруг заметил он.

Они как раз поднялись на арочный мост – старинный, сложенный из выщербленного, но, сразу видно, крепкого кирпича. Мадина заметила его издалека, и он сразу ей понравился. Но, стоя на этом мосту, она впервые ощутила, что на улице не так уж тепло: порыв ветра качнул макушки старых берез и пробрался в рукава ее пальто. Наверное, она вздрогнула, потому Альгердас и догадался, что она замерзла.

Он обеими руками взял ее руку и сказал:

– У вас рука совсем холодная. Пойдемте отсюда.

– Нет, зачем! – воскликнула Мадина.

От его прикосновения у нее закружилась голова – по-настоящему и очень сильно, так, что она даже схватилась другой рукой за шаткие, составленные из металлических прутьев перила. Она готова была вцепиться в эти перила так, что ее не оторвал бы от них даже тягач. Лишь бы Альгердас не отпускал ее руку.

– Ну, постоим, – кивнул он.

Они стояли на мосту, над прекрасной и строгой кирпичной аркой, и Мадина чувствовала, как ее рука согревается в обеих его руках.

– И вторую давайте. – Голос его дрогнул. – Наверное, тоже холодная.

Мадина протянула ему вторую руку. Эта, правая, ее рука была еще холоднее из-за того, что она держалась ею за металлические перила. Альгердас сразу это почувствовал – он поднес Мадинину правую руку к губам и подышал на нее.

Странность, необъяснимость происходящего усиливалась с каждым мгновением и с каждым мгновением все меньше казалась им странностью. Да, именно им обоим – Мадина чувствовала, что с Альгердасом происходит то же, что и с нею.

Он дышал на ее руку, согревая, и пар от его дыхания вился вокруг его губ и вокруг ее пальцев. Потом он вдруг отпустил ее руку и сразу же, словно боясь, что она куда-нибудь исчезнет, притянул Мадину к себе – обхватил за плечи и замер, держа ее в объятиях. Они были одного роста, Мадина еще в общежитии это заметила. И теперь ее губы оказались прямо перед его губами. И ему не пришлось даже наклоняться, чтобы поцеловать ее.

Его губы были так же теплы, как руки, как плечи, как все его тело под вязаным черным свитером. Мадина чувствовала это тепло всем своим телом, хотя тело ее было упрятано в одежду – в пальто, в халат; все это казалось ей сейчас до ужаса ненужным.

Словно угадав ее мысли, Альгердас расстегнул верхнюю пуговицу ее пальто. Он сделал это, не отрываясь от ее губ, одновременно с поцелуем. И оторвался от них только для того, чтобы поцеловать ее снова – во впадинку между ключицами.

– Пойдемте, – чуть слышно произнес он, когда и этот поцелуй все-таки закончился. – Мне стыдно, что я вас на холод вытащил.

Ей совсем не хотелось уходить, и холода она уже не чувствовала. Но Альгердас разомкнул объятья, сразу же взял ее за руку и быстро повел за собой. Спустившись с моста, он оглянулся и сказал:

– Ага, мы же на мосту влюбленных поцеловались.

– Вот это мост влюбленных? – с трудом проговорила Мадина.

Губы у нее почти не двигались, но не от холода, а от ошеломления: его поцелуй все длился и длился на них.

– Ну да, – кивнул он. – Если по нему двое, взявшись за руки, пройдут, то будут жить вместе долго и счастливо. – И, наверное заметив ошеломление в Мадининых глазах, добавил: – А если на нем поцелуются, то будут вместе до гробовой доски. Пойдемте!

Парковые дорожки сами собою стелились им под ноги все быстрее, быстрее, и мелькали за поредевшими осенними деревьями павильоны, ротонды, и какое-то здание, похожее на дворец, только маленькое, и еще одно, похожее на Манеж, и пруд мелькнул, и еще один мост… Мадина бежала рядом с Альгердасом, не отпуская его руки – или это он не отпускал ее руки? – и щеки у нее пылали от их общего стремительного бега.

Кажется, они вышли из Нескучного сада уже не через дыру в заборе, а через неприметную боковую калитку; впрочем, Мадина не сказала бы с уверенностью. Она не понимала и того, куда они идут, вернее, бегут; оказавшись на улице, широкой и не по-вечернему шумной, они не стали двигаться медленнее. Конечно, они должны были теперь расстаться, ну да, наверное, они ведь и вышли снова к общежитию; Мадина всегда плохо ориентировалась на городских улицах, на московских особенно. Ей совсем не хотелось с ним расставаться, но сказать ему об этом она не могла, и оттого, что расставание все-таки неизбежно, и прямо сейчас неизбежно, она чувствовала такую сильную внутреннюю дрожь, какой не чувствовала ни от ветра, ни от вечернего осеннего мороза.

Они прошли вдоль решетки Нескучного сада и сразу оказались во дворе многоэтажного дома. У подъезда Альгердас остановился и, обернувшись к Мадине, спросил:

– Вы… правда со мной пойдете?

В его глазах мелькнула тревога.

– Правда, – сказала Мадина.

«Как я могу с тобой не пойти?» – подумала она.

Его глаза просияли. Тем самым ясным огнем, о котором пелось в любимой песне и который всегда казался ей загадкой. Только теперь она поняла, о чем же в той песне пелось.

Лампочка над ступеньками горела тускло, дверцы сломанных почтовых ящиков были распахнуты, тесный лифт громыхал, поднимая их вверх, – в общем, это был самый обыкновенный подъезд самого обыкновенного дома. Но Мадина чувствовала, что ее колотит мелкая дрожь – так, словно она попала в какой-нибудь загадочный лес. Или в лабиринт. Или в подводное царство. Ничего обычного не осталось у нее внутри, и эта необычность внутреннего существования преобразила окружающий ее мир до полной неузнаваемости.

Альгердас открыл дверь квартиры, пропустил Мадину перед собой в прихожую и, войдя, сразу включил свет.

– Ну… вот, – сказал он.

В его голосе Мадина расслышала растерянность. Но сожаления в нем не было, это она тоже расслышала сразу.

Сама же она чувствовала не то что растерянность – ужас она чувствовала, вот что. Дрожь, колотившая ее, стала такой сильной и крупной, словно сквозь нее пропускали электрический ток. Руки, отогревшиеся еще в Нескучном саду, теперь не то что похолодели, а заледенели. Она не могла произнести ни слова – губы не слушались.

Она стояла, прижавшись спиной ко входной двери, и не знала, что ей делать.

К счастью, та растерянность, которая мелькнула в голосе Альгердаса, прошла у него очень быстро. Он помедлил всего мгновение и положил руки Мадине на плечи. Подержал их у нее на плечах, будто проверяя, что она действительно существует, и осторожно, медленно расстегнул пуговицы ее пальто. Потом снял с нее пальто и не глядя положил его на тумбочку для обуви.

И, склонив голову, снова поцеловал ее во впадинку между ключицами – как там, на арочном мосту Нескучного сада.

Когда он поднял голову, глаза у него были подернуты туманом.

– Не сердитесь на меня, – чуть слышно произнес он. – Я сам не понимаю, что происходит.

Мадина тоже не понимала, что происходит, но это почему-то перестало ее пугать. Да, все происходило ошеломляюще, непонятно, слишком быстро, наверное. Но она чувствовала теперь только счастье, и оказалось, что счастье сильнее страха.

Пуговки ее халата расстегивались легко. Альгердас расстегнул их до половины, потом взял ее за руку и повел в комнату. Что там было, в этой комнате, она не разглядела. Кровать стояла, это точно. Она была освещена неизвестно откуда падающим неярким светом и застелена белым лохматым покрывалом. Альгердас не стал это покрывало снимать, и оно щекотало голые Мадинины плечи, когда он положил ее на кровать. И его плечи, наверное, оно щекотало – он разделся тоже. И когда он разделся, то все его тело стало светиться так, будто источник света находился где-то у него внутри.

– Свет какой, – шепнул он, целуя Мадину. – Вот здесь…

И, чтобы она точно знала, откуда исходит свет, поцеловал ее снова. Хорошо, что, выбегая из общежития, она не успела переодеться во что-нибудь из этого своего мгновенно снимающегося халата: Мадина не представляла, как стала бы раздеваться перед ним. Как это было бы долго, неловко. А так – халат упал на пол легко, и даже колготки, которые она вечно цепляла ногтями, снимая, на этот раз снялись как-то незаметно. И они с Альгердасом лежали теперь рядом обнявшись, оба сияли в глазах друг друга волшебным светом, и никакой неловкости между ними не было.

– Я как пьяный, – шепнул Альгердас, коснувшись губами Мадининых губ. – Но не пил ни капли, честное слово.

Она улыбнулась: смешно было, что он клянется в своей трезвости. Она понимала его состояние, потому что оно и у нее было таким же – она тоже как будто погружена была в странный, необъяснимый мир, в котором все, что ни сделай, получается правильно и объяснимо, но только на каком-то новом языке объяснимо.

Они полежали еще немного молча, обнявшись, не делая ни единого движения, только вслушиваясь друг в друга. Мадина знала, что может лежать так сколько угодно долго, да что долго – всегда она может так лежать, и ничего ей больше не надо.

Но Альгердасу надо было другое; она почувствовала это по тому, как участилось его дыхание, напряглось все тело. Рука его скользнула по ее плечу, двинулась вниз, задерживаясь на каждом попутном изгибе, и чем ниже опускалась рука, тем больше напряжения чувствовалось во всем его теле. Он гладил ее и одновременно переворачивал на спину, и вот она уже видела его лицо над своим, и глаза его сияли совсем близко, так, что расплывались перед нею, заполняли все поле ее зрения. А ей и не хотелось видеть ничего, кроме этого бескрайнего светлого поля его глаз. И то, что происходило в это время с ее телом, ощущалось ею лишь как помеха, неловкость, неудобство, боль… Да, боль! Она вдруг пронзила ее всю, и Мадина еле удержалась от вскрика. Она не понимала, откуда взялась эта боль, какое отношение она имеет к тому прекрасному светлому пространству, в которое она только что была так безоглядно погружена. Такое состояние – когда все, что с тобой происходит, является непонятно откуда и непонятно чем обусловлено, – и в самом деле могло быть связано только с опьянением, притом с опьянением очень сильным; Мадина и припомнить не могла, чтобы когда-нибудь бывала так пьяна. Но теперь это было именно так: она вся была пронизана болью, она не понимала, почему и как это случилось, она слышала быстрое, прерывистое дыхание Альгердаса, чувствовала тяжесть, резкость его тела в себе и с трудом сдерживала вскрик, который рвался у нее из горла оттого, что ей казалось, будто все ее тело разрывается снаружи и изнутри одновременно.

В какой-то момент ей показалось, что больше она этого не выдержит. Она разомкнула губы, до сих пор, чтобы не закричать, плотно сжатые, и хотела сказать ему, просить его… Она не представляла, как скажет ему, что ей только больно, только невыносимо все это, и чтобы он прекратил, не надо больше, не надо!.. Стон уже сорвался с ее губ, но тут его лицо, которое она все время видела над собою, словно морозом сковало: оно застыло, побелело, и в следующее мгновение Альгердас уронил голову ей на плечо и, вздрагивая, вдавил ее в кровать. При этом у него вырывались какие-то короткие, похожие на вскрики слова, которых она не разобрала.

Он сразу стал такой тяжелый, что она задыхалась, придавленная им к кровати, вдавленная в белое покрывало. Хорошо, что оно хотя бы не колючее было, просто мохнатое, как шкура какого-то зверя. Первобытная пещера могла быть застелена такой шкурой, да Мадина и себя сейчас чувствовала каким-то первобытным существом, для которого весь мир существует лишь в виде физических ощущений – боли, тяжести, напряжения… И как это вдруг получилось, как превратилось в эту грубую тяжесть то счастье, в котором она плыла так невесомо всего несколько минут назад?

Альгердас приподнялся на локтях и перекатился на спину. Мадина вздохнула с облегчением. Он притянул ее к себе и поцеловал в висок. Это был короткий, мимолетный, какой-то рассеянный поцелуй.

– Спасибо, – сказал он.

– За что? – глупо вырвалось у нее.

– За смелость. – Он улыбнулся, и сердце ее сразу залила та счастливая волна, которая, ей казалось, уже к нему не подступит. – Я не знаю женщин, которые не побоялись бы пойти к незнакомому мужчине ночью и… И все остальное. Я думал, придется объяснять тебе что-то, успокаивать. А ты просто пошла, и все. Ты хорошая.

С этими словами он потерся носом о ее плечо. Волна, заливающая ее сердце, стала горячей.

– Не обижайся на меня, правда, – сказал Альгердас. – Со мной никогда такого не было. Я знаю, все всегда так говорят, – торопливо добавил он. – Но на этот раз так и есть.

Мадине никто никогда такого не говорил. Просто потому, что никто никогда не делал с ней такого. Но она не стала ему возражать. Ну как признаться мужчине, что с тобой никогда такого не было по той банальной причине, что он у тебя первый? Может, в шестнадцать лет это звучит и трогательно, и возвышенно, но в тридцать – неловко и просто глупо. Хорошо еще, если он сам этого не заметил.

Скосив глаза, Мадина с опаской посмотрела на Альгердаса. Он смотрел на нее немножко виновато, немножко рассеянно, немножко как-то еще. И, хотя его желание было удовлетворено, все лицо по-прежнему подсвечивалось изнутри тем ясным огнем, который особенно сильно горел в его светлых глазах. Наверное, этот свет был присущ ему от природы, был частью его самого и не зависел от любых изменчивых обстоятельств, в том числе и от удовлетворенности телесного желания.

Да, по счастью, ничего он не заметил – этой ее запоздалой и глупой девственности. Может, просто не мог себе представить, что такое возможно.

Только теперь Мадина заметила, что Альгердас моложе ее. Ему было лет двадцать пять, а то и меньше. Собственно, он был еще совсем мальчишка. Кровь бросилась ей в лицо. Что бы он ни говорил про ее какую-то там необыкновенную смелость, но сейчас она задыхалась не от сознания этой мифической смелости, а просто от стыда. Господи, что же такое должно было с ней произойти, чтобы она в мгновение ока пошла бы вдруг с совершенно незнакомым мужчиной, да что с мужчиной, вот именно с мальчишкой, гулять ночью по саду, и стала бы с ним целоваться, а потом пошла бы к нему домой, и позволила бы себя раздеть, и еще сама помогала бы ему раздеваться, ну да, она же помогала ему стягивать свитер и даже, кажется, джинсы его расстегивала… Что-то сверхобычное должно было с нею произойти для всего этого!

– Что-то со мной произошло, – сказал Альгердас. – Что-то такое необычное.

Мадина вздрогнула: он вслух произнес то, о чем она думала. И это происходило уже не в первый раз. Вдруг он быстро повернулся на бок и сказал:

– Хотя чему удивляться? Зря мы, что ли, на мосту влюбленных поцеловались?

И, прежде чем Мадина успела что-нибудь ответить – хотя что на это можно было отвечать? – он положил ладонь ей на затылок и притянул к себе ее голову так, что она уперлась лбом в его лоб. Его ласки были неожиданными и какими-то… мужественными. Конечно, Мадине не с чем было сравнивать, но почему-то ей казалось, что именно такими бывают мужественные ласки. Что именно в таком вот сочетании мимолетности и силы эта самая мужественность как раз и заключается.

Альгердас быстро поцеловал ее в нос, оказавшийся прямо перед его губами, отпустил ее голову и одним легким движением поднялся с кровати.

– Сейчас чай согрею, – сказал он. – А то у тебя ноги как ледышки.

Что ноги у нее такие не от холода, а непонятно от чего, Мадина говорить не стала. К тому же она не знала, что теперь делать, и то, что Альгердас решил заняться чаем, ее обрадовало: по крайней мере, он не посмотрит на нее с нетерпеливым ожиданием и не спросит, каковы ее ближайшие планы. Или хотя бы не сразу посмотрит и спросит.

Никаких планов у нее не было. Она даже с недоумением думала, что когда-то – собственно, не когда-то, а всегда, всю ее жизнь – у нее бывали какие-то планы.

Альгердас надел джинсы, лежащие на полу, и вышел из комнаты. Через минуту в кухне зашумел чайник. Мадина вскочила с кровати, посмотрела на покрывало. К счастью, на нем не осталось следов, а то ведь она еще и об этом думала все время, и от этой мысли ее бросало в жар… Она подняла с пола свой халат, поскорее надела его и застегнула. Когда Альгердас вернулся в комнату, она так же поспешно приглаживала волосы.

В руках он держал два стакана в серебряных подстаканниках. От стаканов шел пар и пахло крепким, без примесей чаем.

– Не надо. – Он улыбнулся, поставил стаканы на пол и, сев на край кровати, взял Мадину за руку. – Не причесывайся. У тебя волосы очень красивые. Особенно когда растрепанные.

Он поднес ее руку к губам и быстро, коротко поцеловал. Это было так хорошо, так просто! И слова его, и этот поцелуй были частью какой-то очень длинной и, главное, непрерывной жизни, в которой все бывает не однократно, а всегда: он всегда гладит ее волосы и всегда знает, какими они больше нравятся ему, растрепанными или причесанными, и это не изменится ни через минуту, ни через много лет…

Конечно, глупо было так думать. Мадина потрясла головой, чтобы избавиться от своего обманчивого представления. Альгердас этого не видел: он поднимал с пола стаканы. Один из них он протянул Мадине.

– Грейся, – сказал он.

– Я вообще-то не замерзла. Но как же ты не замерз! В одном свитере на улице. А уже ведь минус, наверное.

– Может, останешься? – сказал он. – Как-то глупо было бы теперь тебе уходить.

Он сказал это с той же прямой простотою, с какой лежал, вслушиваясь в нее всю, или целовал ее в висок, или притягивал к себе ее голову, положив руку ей на затылок. В нем была бездна простоты и силы, хотя трудно было это понять при первом на него взгляде. Но Мадина смотрела на него уже не первым взглядом – у них уже было много общих воспоминаний; во всяком случае, так ей казалось.

– Да. Глупо было бы, – сказала она.

Но останется или нет, не сказала. Она растерялась и не знала, что сказать.

Но Альгердас понял ее слова как согласие. Лицо его просияло, и у нее сердце дрогнуло от счастья. Значит, то, что она останется, оказалось для него радостью?

– Залезем с тобой под одеяло и будем альбом смотреть, – сказал Альгердас тем тоном, каким обещают ребенку сказку на ночь; на мгновение Мадина забыла, что он моложе ее, хотя помнила об этом все время и все время это ее тревожило. – Или ты голодная? – вдруг спохватился он.

– Нет. – Она не выдержала и улыбнулась.

– Тогда я тебе полотенце дам и, пока ты в ванной, постель постелю. Это же здорово будет, – сказал он.

Усомниться в этом было невозможно. Во всяком случае, Мадина не собиралась в этом сомневаться.

Одна из стен комнаты была одновременно раздвижной дверью шкафа. Альгердас открыл шкаф наполовину, достал большое белое полотенце. Мадина взяла его и пошла в ванную. Если бы он сказал ей выпрыгнуть из окна, она, пожалуй, сделала бы и это. Страх, неловкость, физическая боль – все, что угнетало ее еще совсем недавно, – забылось совершенно, и при взгляде на Альгердаса она чувствовала теперь только восторг, от которого у нее покалывало в носу так, что даже хотелось плакать.

Халат снова оказался очень кстати: его удобно было надеть после душа.

Когда Мадина вернулась в комнату, покрывало с кровати было уже снято и постель белела так, что в нее хотелось забраться немедленно. Хотелось накрыться с головой одеялом и чувствовать в темноте только дыхание Альгердаса. Ну и его поцелуи, конечно, тоже.

– Я быстро, – сказал он, выходя из комнаты.

Пока шумела в ванной вода, Мадина быстро разделась и нырнула под одеяло. С головой она, конечно, укрываться не стала, но возвращения Альгердаса ждала с совершенно детским предчувствием счастья. Так она когда-то, ей еще и пяти лет не было, ждала вечером, когда наконец откроет книжку – самую увлекательную, такую, от которой невозможно будет оторваться. То детское ожидание не длилось долго, ведь книжку надо было всего лишь взять с полки, но вот тогдашнее предчувствие счастья было таким сильным, что до сих пор помнилось каждое его мгновение.

Альгердаса тоже не пришлось долго ждать. Полотенце было завязано у него на боку, капли воды сверкали на плечах, и волосы были мокрые, но все равно светлые. И глаза все равно горели ясным огнем.

«Я влюбилась в него с первого взгляда, – подумала Мадина, глядя, как он развязывает узел полотенца. – Неужели это в самом деле бывает? Да еще со мной?»

Альгердас лег рядом с нею. Ноги их сплелись под одеялом.

– У тебя губы чем-то осенним пахли, – шепнул он. – Яблоком, что ли?

Мадина вспомнила про бальзам «Яблочный поцелуй» и пожалела, что не догадалась намазать им губы еще раз, уже после душа. А сказать Альгердасу, что запах происходил просто от бальзама, ей почему-то было неловко. Хотя, наверное, нормальная женщина не должна была испытывать никакой неловкости от того, что пользуется косметикой, которая нравится мужчине. Но себя-то Мадина нормальной женщиной не считала, по крайней мере до сегодняшнего вечера. Или то, что произошло с ней сегодня вечером, точнее, уже ночью, тоже невозможно было считать нормой? Нет, про это ей думать не хотелось. Не хотелось соотносить происшедшее с какими-то посторонними представлениями о том, как должно и как не должно быть.

«Никто ничего не знает, – подумала она. – Никто не знает настоящей правды».

– Мне показалось, тебе неприятно было, – вдруг, тоже шепотом, сказал Альгердас. Мадина вздрогнула. Неужели он понял, отчего ей было больно? И что же ей теперь делать? – Но ты ведь ко мне еще не привыкла, да? У нас все это проще. А у вас как-то слишком сложно, по-моему. Но ничего. Мне с тобой по-любому хорошо. Ложись. Альбом завтра посмотрим, ладно?

Он положил ладонь ей на висок тем же очень мужским движением, каким прежде клал на затылок, пригнул ее голову – она как раз оторвала ее от подушки, потому что, испугавшись его

слов, с тревогой стала вглядываться ему в лицо, – и погладил ее по щеке, успокаивая. Вторая ее щека уже касалась его плеча: подчиняясь его движению, Мадина легла ему на плечо и притихла.

– Тебе завтра рано надо? – спросил он. – Мне вообще никуда не надо. Целый день. Я тебя могу проводить, а потом встретить. Спи, Динка.

И тут же, противореча своим словам, он принялся ее целовать, и желание его сразу стало сильным, и в следующие полчаса все в общем-то происходило так же, как в первый раз: страсть с его стороны, страсть нескрываемая, и боль, и неловкость – с ее, и она изо всех сил постаралась скрыть свою боль, и, кажется, ей это удалось.

Альгердас, впрочем, и не заметил даже, что его действия противоречат словам. А она заметила, но не обиделась на него. Она ведь сразу заметила его непоследовательность, и ей сразу это понравилось в нем, потому что непоследовательность его была живая и очень какая-то мужская. Мадина никогда прежде не сталкивалась с мужской непоследовательностью, только догадывалась о ее существовании, а когда столкнулась, то ей очень понравилось это неведомое прежде качество.

– Спи, спи, – сказал Альгердас, когда все кончилось. Так сказал, как будто ничего особенного между ними и не произошло. Но поцеловал ее при этом с такой нежностью, что у нее занялось дыхание. – Когда тебя разбудить? Я все равно рано проснусь. Такой организм.

– Хороший у тебя организм. – Мадина улыбнулась, касаясь губами его губ. – Не мерзнешь, просыпаешься рано… Не волнуйся, я сама встану.

«Да и не усну, может», – подумала она.

Но Альгердас обнял ее, прижал к себе, и она тут же окунулась в сон безоглядно, как в его объятия.

Глава 6

– Как вы дожили до сегодняшнего дня, Нэк, вот чего я искренне не понимаю.

Альгердас покрутил в руках емкость из коры какого-то южноамериканского дерева и с удовольствием затянулся матэ через трубочку. Никита тоже отхлебнул из своего стакана. Он, как и Альгердас, не курил, но, в отличие от него, пил не матэ, а мартини.

– Мы – это кто? – поинтересовался он.

– Вы – это те, кому за сорок. Нет, ну сам посуди. Кроватки ваши были выкрашены красками с высоким содержанием свинца. – Альгердас загнул палец. – Так?

– Вероятно, – улыбнулся Никита. – Моя, помню, была зеленого цвета и вся изгрызена. Сначала я грыз, потом младший брат, потом племянник.

– Вот видишь! Далее. – Альгердас загнул еще один палец. – Пузырьки с лекарствами закрывались такими крышками, что их любой ребенок мог открыть без малейшего усилия. Потом розетки – для них вообще никаких закрывашек не было. Кто не отравился свинцом, пока грыз кроватку, должен был отравиться бабушкиным лекарством или убиться током. Или как минимум отхлопнуть себе пальцы дверцами шкафа, стопоров-то для них тогда еще не придумали.

– Да-а… – с элегическим видом произнес Никита. – А воду мы, помню, пили из колонки на углу. Знаешь, где депо Павелецкого вокзала? Ну, ты не знаешь. И никому из пацанов в голову не вошло бы кататься на велике в шлеме.

– Я и говорю, как вы выжили, ума не приложу.

Тут Альгердас и Никита дружно захохотали и сразу стали похожи, как близнецы-братья. Почти двадцатилетняя разница в возрасте перестала ощущаться совершенно. Правда, она и раньше не очень была заметна: несмотря на седые виски и некоторую сухость лица, которая, вероятно, появилась именно с возрастом, Никита выглядел молодо, фигура у него была подтянутая, и одевался он точно так же, как Альгердас, – в одежду, которая не казалась ни старомодной, ни остромодной и привлекала внимание лишь каким-то особенным неброским своеобразием; цена этой одежды была неопределима.

У Никиты был свой бизнес, кажется, немаленький, но оставляющий ему достаточно свободного времени для того, чтобы заниматься руферством, то есть забираться на крыши домов и фотографировать город с высоты птичьего полета. Не город, а города, впрочем: Никита объездил с фотоаппаратом весь мир. С Альгердасом он познакомился, когда тот выполнял для его фирмы какой-то дизайнерский заказ, и с тех пор они не то чтобы дружили, но приятельствовали, то есть встречались время от времени в каком-нибудь клубе или кафе, чтобы вместе выпить. Правда, в общепринятом смысле слова пил только Никита – мартини или стаканчик виски со льдом. Альгердас предпочитал матэ или зеленый чай.

Мадина смотрела, как они смеются, и ей самой становилось весело от их молодой беззаботности. Ни возраст ничего не значил в той жизни, которой она теперь жила, ни тягости быта. Просто не было никаких тягостей: достаточно было о них не думать, не пускать их в свое сознание, и они сразу же исчезали наяву.

Сегодня приятели встретились не вечером, а днем; было воскресенье. Мадина пошла на эту встречу вместе с Альгердасом, потому что ходила с ним повсюду. Ей ни разу не становилось скучно, и, наверное, ему в ее присутствии не было скучно тоже, ведь он каждый раз просил ее пойти с ним, неважно куда – к знакомому в мастерскую для каких-нибудь общих дизайнерских дел, или на встречу с клиентом, для которого он делал какой-нибудь проект, или на такую вот приятельскую встречу, не имеющую никакой прагматичной цели. Получалось, что Мадина нужна была ему всегда, во всех проявлениях его жизни? Когда она об этом думала, волна

счастья окатывала ее изнутри, как в ту первую ночь, которая так неожиданно и просто их с Альгердасом соединила.

Клуб был не из дорогих, но оформлен с большим вкусом. Его залы были разделены не стенами, а прозрачными пластинами. На них были отпечатаны фотографии московских улиц, но отпечатаны таким необычным способом, что казалось, ты сидишь за столиком прямо в уличном пространстве со всеми его поворотами и даже подворотнями. Это выглядело необычно и почему-то создавало ощущение беззаботности. Той легкой беззаботности, которою полна была Москва.

– Ладно, Нэк, – сказал Альгердас, отсмеявшись. – Мы пойдем. Спасибо. Хорошо посидели.

Никита хотел что-то ответить – наверное, поблагодарить в ответ, потому что посидели в самом деле хорошо и вряд ли он думал иначе, – но тут он заметил кого-то за спиной у Альгердаса, и лицо его просияло.

– Женька! – воскликнул он.

Мадина обернулась. К их столику шла от двери совсем молоденькая девчонка, лет восемнадцати, не больше. Она была маленькая, тоненькая, очень московская; Мадина уже научилась с первого взгляда распознавать черты, присущие облику всех московских девчонок. То есть не всех, а вот этих, милых, симпатичных, которые составляли дневное большинство в кафе и в не очень дорогих, непафосных клубах. Этим девчонкам вообще был чужд пафос. Улыбка у них была открытая и веселая, одевались они с милой простотой, но обязательно с какой-нибудь очаровательной необычностью вроде вышитых валенок и такого же, валяного и вышитого, шарфика.

Именно так была одета девушка, мгновенно оказавшаяся рядом со столиком, за которым сидели Никита и Мадина с Альгердасом. Впрочем, Никита за столиком уже не сидел – он вскочил, и девушка попала прямо к нему в объятия. Она с радостным смехом повисла у него на шее, а он с такой же радостью подхватил ее и расцеловал. При этом ее шапочка, тоже валяная, упала на пол и звякнула: к ней были пришиты бубенчики.

– Вы знакомы? – спросил Никита, опуская девушку на пол. – Это моя Женька.

Женьку можно было бы принять за его дочь, если бы не особенный тон их объятий и не то, как он положил руку ей на плечи, усаживая рядом с собой за столик. В самом движении его руки, в том, как сжались у Женьки на плече его пальцы, было заметно очень сильное чувственное притяжение.

– С Герди мы знакомы, – улыбнулась она Альгердасу. – А…

– А это Мадина, – представил тот.

– Ой, какое имя красивое! – восхитилась Женька. – Можно я тебя буду звать Мадо?

– Пожалуйста, – кивнула Мадина. И добавила: – Ты первый человек, который сразу вспомнил про «Триумфальную арку».

– Про какую арку? – удивилась Женька.

Конечно, романа Ремарка она не читала. Даже странно, как Мадина могла предположить, чтобы эта милая девочка с неомраченным взглядом могла интересоваться такими доисторическими окаменелостями.

Никита «Триумфальную арку», конечно, читал. Они быстро переглянулись с Мадиной. Он усмехнулся.

Но расспрашивать, что это за арка такая, Женька не стала. Она весело улыбнулась, и Мадина улыбнулась тоже: трудно было не откликнуться на такое искреннее обаяние.

– Я и не знал, что ты сегодня сюда забежишь, – сказал Никита, разматывая на Женькиной шее валяный шарфик.

– Я и сама не знала, – снова улыбнулась она. – На самом деле собиралась весь день курсовую писать.

– Надо же, какая ты у меня прилежная, – улыбнулся и Никита. – По-моему, сейчас курсовых никто уже не пишет, все из Интернета скачивают.

– А у нас в институте какую-то программу поставили, – объяснила Женька. – И теперь по одному абзацу определяют, что ты списал и откуда. Пришлось самой париться. – Она засмеялась. Ее смех звенел, как бубенчик с ее шапки. – Ну вот, и я на самом деле быстро устала. И решила пойти выпить кофе. А куда? Конечно, сюда. Я и не знала, что ты здесь.

При этих последних словах она ласково потерлась о Никитину руку щекой. Он тут же притянул ее к себе и поцеловал в нос. В этой их быстрой общей ласке было еще больше очарования, чем в Женькином смехе, хотя, когда она смеялась, больше уже, казалось, было некуда.

– Ну, не будем вам мешать, – сказал Альгердас, вставая.

– Вы нам не мешаете, – засмеялась Женька. – Ой, Герди, может, ты мне поможешь с курсовой, а? Через три дня сдавать, а я зависла совершенно.

Смех у нее был просто серебряный.

– Ну давай, – пожал плечами Альгердас. – Только я в ваших архитектурных делах не очень разбираюсь.

– Да там ничего особенного! – воскликнула Женька. – На самом деле обыкновенный дизайн. Я тебе текстик сброшу, ладно? Сильно грузить тебя не буду, я же не зверь. – Она опять улыбнулась своей открытой улыбкой. – Глянешь и скажешь, про что мне дальше писать.

– Ладно, – кивнул Альгердас.

На улице уже стемнело. Ноябрьский вечерний мороз ущипнул Мадину за уши.

«Валяная шапка не помешала бы, – подумала она. – Можно и с бубенчиками».

Ей теперь в самом деле казалось, что она вполне могла бы носить такую же смешную шапку, как у Женьки. Все было возможно в этом легком городе, в этом пронизанном веселыми огнями сумраке, в этой счастливой жизни, которая все длилась и длилась и не собиралась уменьшаться в своем счастье…

– Никита давно знаком с Женей? – спросила Мадина.

Ей хотелось понять, долго ли могут продолжаться такие чудесные, такие чувственные и вместе с тем легкие отношения.

– Да сколько и со мной, – ответил Альгердас. – Ну да, почти столько же. Мы с Нэком месяц были знакомы, а потом Женька появилась. Он сразу преобразился, – хмыкнул он. – Одеваться стал по-другому, стричься. Даже походка изменилась. Вообще совершенно иначе стал выглядеть.

– Моложе? – спросила Мадина.

– Нет, не сказал бы. Даже наоборот: возраст стал заметнее. Не моложе, а бодрее, живее. Алертнее. Ну, и образ жизни изменился, конечно. Крышелазаньем вот увлекся. А то, говорит, раньше, кроме работы, только спать успевал, больше ни на что ни времени, ни сил не оставалось.

– Они вместе живут? – спросила Мадина.

Правда, она тут же сообразила, что Никита и Женька встретились в кафе не так, как встретились бы люди, которые расстались несколько часов назад в общем жилье.

– Да нет, у него же семья. Или он от жены ушел уже? Да, кажется, уже ушел.

Альгердас сказал об этом так, словно уход от жены разумелся сам собою и дело было только в сроках. Как к этому относиться, Мадина не знала. С одной стороны, конечно, жаль Никитину жену, но с другой – ее существование кажется таким призрачным, таким каким-то маловероятным, когда видишь искреннюю, совсем юную нежность, которая связывает Никиту и Женьку…

Клуб, в котором они встречались с Никитой, находился на Ленинском проспекте, неподалеку от дома, и они пошли пешком.

Мадине нравилось причудливое кружево старых переулков в центре, где-нибудь возле Чистых Прудов, но не меньше нравился ей и размах широких московских улиц – проспекта Мира, Ленинского, Кутузовского. И вечное их оживление, ночью лишь немного притихающее, нравилось тоже.

Альгердас жил в старом блочном доме рядом с Ленинским проспектом. В ту ночь, когда Мадина впервые попала сюда, она этих подробностей, конечно, не заметила. И уж тем более не заметила, далеко ли находится дом от метро. А теперь она знала, что от Калужской Заставы это совсем близко, что дом хоть и старый, но вполне приличный, правда, в подъезде пальмы в вазонах не растут, но и кошками все-таки не пахнет, что однокомнатная квартира не кажется тесной, потому что обставлена удобно и просто, без излишеств, что главный предмет в комнате – компьютер, который хоть и стоит бешеных денег, зато дает такие возможности в анимации, за которые никаких денег не жалко… Она знала теперь так много прекрасных подробностей его жизни! Она не специально их узнавала, просто они жили вместе так, что Мадина чувствовала себя с Альгердасом единым целым, и он, кажется, чувствовал то же самое, а потому подробности жизни друг друга становились им известны и понятны как-то сами собою, без усилия, без того труда и напряжения, которые вообще-то неизбежны в то время, когда люди привыкают друг к другу.

Они друг к другу как-то и не привыкали, просто стали жить общей жизнью, и сразу им стало казаться, что так было всегда.

Сначала Мадина удивлялась, как такое могло с ней произойти. Все-таки уж слишком не похожа была ее нынешняя жизнь с Альгердасом на ту жизнь, которую она вела до него, и не год ведь, не два, а с самого рождения.

Но потом это перестало ее удивлять.

А чему ей было удивляться? Ее прошлая жизнь проходила в том кругу, который она сама для себя очертила. Может, это был слишком замкнутый круг и слишком он выпадал из реальности, но зато в его пределах Мадина могла жить так, как это было необходимо ее сердцу и уму. В том ее зачарованном кругу не имели значения ориентиры и правила, которые имели значение для большинства знакомых ей людей.

В том ее личном кругу не обязательно было выходить замуж и даже не обязательно было иметь мужчину, за которого следовало стремиться выйти замуж. Зато в нем имел значение поцелуй Печорина и княжны Мери – Мадина любила Лермонтова и перечитывала его роман каждый раз, когда чувствовала в собственной жизни некоторую нетвердость, да и просто так она его перечитывала.

И птицы, низко перелетающие в прозрачном осеннем саду, имели в том ее мире большое значение. И яблоки, лежащие на дорожках вдоль облетающих розовых кустов. И шелест берез над гудящими рельсами. И… Весь он был подчинен чувствам, тот ее прежний мир, весь покоился на каких-то очень тонких основах.

И именно поэтому она так легко, без привыкания и труда, перешла в мир, связанный с Альгердасом. Значение чувств, их удельный вес в ее жизни при этом не изменился.

Мадина едва ли сумела бы высказать вслух это свое понимание. Да, пожалуй, и постеснялась бы она высказывать его Альгердасу. Но она почему-то знала, что и для него тонкая, едва называемая, но очень сильно ощутимая жизнь человеческого духа имеет такое же значение, как для нее.

Он был необычный человек, необычный мужчина, и необычность его заключалась именно в этом.

Глава 7

В комнате было тепло, монитор переливался в темноте таинственными огнями – уходя, Альгердас не выключил компьютер. При взгляде на эти ласковые переливы Мадина почувствовала, что сердце у нее заливается счастьем и волна этого счастья подбрасывает ее сердце вверх, к самому горлу.

– Ну вот, – сказал Альгердас. – Вот мы и дома. Есть хочешь?

– Ты хочешь? – спросила она.

– Нет. Доделаем фазовку?

– Да, – кивнула Мадина.

В анимационных терминах она разобралась довольно быстро, Альгердас без труда их ей объяснил. Фазовка – это была вставка между основными кадрами мультфильма кадров промежуточных. Это было необходимо, чтобы жесты и мимика персонажей выглядели живыми, последовательными. Альгердас как раз заканчивал сейчас свой новый фильм, небольшой, на три минуты; фазовка была одной из завершающих стадий работы.

В его мультфильме танцовщица кружилась в каком-то странном стремительном танце, похожем на танец дервишей, и вместе с ней начинала кружиться сначала маленькая травяная полянка вокруг нее, потом весь лес, а потом вся земля, которая, раскружившись, улетала во вселенскую бесконечность.

Движения танцовщицы Альгердас и соединял теперь фазовкой.

– Не устала? – спросил он, глядя на экран и водя мышкой по столу.

Картинка на экране менялась от каждого движения его руки и даже, Мадине казалось, вовсе без всяких движений – просто возникала в каком-то неуловимо новом качестве, тут же рассыпалась, снова соединялась, разбрызгивалась множеством искр, вдруг приобретала точные черты… Мадина сидела у Альгердаса за спиной и как завороженная наблюдала за жизнью, подчиняющейся движениям его пальцев.

– Нет, – сказала она и, положив голову Альгердасу на плечо, подышала ему в затылок. – А ты?

– Тоже нет. Посидим еще немного?

– Конечно.

Он с самого начала, с того дня, когда Мадина вошла в его комнату и поставила у стены чемодан со своими вещами, постаравшись сделать это как-нибудь понезаметнее, потому что ей казалось, Альгердаса может испугать появление женщины с вещами, – с того самого дня он начал работать вот так: Мадина сидела у него за спиной, следила за соединеньем и россыпью картинок на мониторе, они время от времени что-нибудь друг другу говорили, или она целовала его в затылок, или он вдруг оборачивался и, притянув ее голову тем движением, которое с самого начала так ее потрясло, целовал ее сам… Все это как-то сразу стало их общей жизнью, их общим занятием, и Мадина была счастлива оттого, что оно все длится и длится, не прерываясь.

– Все! – сказал наконец Альгердас. Монитор погас, словно подчиняясь его волшебному слову. – Теперь ты точно устала и точно голодная. Я пиццу закажу.

– У нас, между прочим, есть суп, – улыбнулась Мадина.

Туман еще застилал его глаза, но это был светлый туман. Он возникал всегда, когда Альгердас погружался в свою работу, в тот необыкновенный мир, который его работой охватывался и создавался.

– Правда? – удивился он. – А когда ты успела сварить?

Суп Мадина успела сварить накануне вечером, когда Альгердас уже спал. Проснуться раньше, чем он, и заняться супом было невозможно, потому что он просыпался совсем рано.

А тратить на суп то время, когда он сидит за компьютером и можно сидеть у него за спиной, дыша ему в затылок, Мадине было жалко.

Она ушла в кухню, поставила кастрюльку с супом на плиту. Через открытую дверь ей было видно, как Альгердас стелет постель, включает белый торшер, стоящий у кровати. В его квартире было много белого цвета, и это создавало ощущение уединенной чистоты. То же самое ощущение было у Мадины в старом родительском саду в Бегичеве, и это стало, наверное, еще одной причиной того, почему она сразу почувствовала себя легко в Альгердасовом доме.

Он погасил в комнате верхний свет и тоже пришел в кухню.

– Садись, Алька, – не оборачиваясь от плиты, сказала Мадина и выключила огонь под кастрюлькой. – Суп уже разогрелся.

Прежде чем сесть за стол, Альгердас поцеловал ее в затылок и нарезал хлеб. За то время, что Мадина жила у него, им ни разу не пришлось распределять домашние обязанности, решать, кто будет выносить мусор, а кто мыть посуду. Посуду, впрочем, мыла машина; только здесь Мадина увидела этот кухонный механизм впервые и поразилась, как и, главное, зачем люди обходятся без него. Мусор обычно выносил Альгердас, потому что он чаще выходил из дому и ему удобнее было делать это по дороге. Еду готовила Мадина, но Альгердас никогда не требовал этого от нее и всегда готов был бы довольствоваться заказанной по телефону пиццей, если бы приготовленной еды вдруг не обнаружилось. И хлеб к столу он нарезал сейчас машинально, потому что заметил краем глаза, что хлеба на столе еще нет.

В его быте была та же доброжелательная простота и легкость, какая была и во всей той жизни, в которую Мадина теперь окунулась. И в милой улыбке юной Женьки она была, и в Никитиных фотографиях Мельбурна с высоты птичьего полета, и в переливающемся таинственными огоньками мониторе… Ей нравился такой быт, и она уже не очень понимала, как быт может быть другим и зачем он должен быть другим, если существует такой вот простой и легкий способ его устройства.

– Мне показалось, тебе не очень нравится, – сказал Альгердас.

Он покрутил над своей тарелкой стеклянную меленку с разноцветными горошинами, и в кухне запахло свежесмолотым перцем.

– Что не очень мне нравится? – не поняла Мадина.

– Мой фильм. Ты как-то скептически на экран смотрела, по-моему.

Как он мог заметить, скептически она смотрела на экран или как-нибудь иначе, ведь она сидела у него за спиной, Мадина не знала. Но заметил же, и это не могло быть случайным, и ей это было очень приятно. Даже мало сказать приятно – счастливо ей это было.

– Не то что не понравился, – ответила она. – Просто показалось, что он слишком умозрительный.

– Как это? – удивился Альгердас. – Как он может быть умозрительный, если ты его уже видишь? Значит, он уже не в уме у меня, а на самом деле существует.

– Конечно, – кивнула Мадина. – Но все-таки в нем не хватает жизни. По-моему, – добавила она.

– Это как? – снова спросил Альгердас. – Что значит не хватает жизни?

– Значит он слишком головной, слишком… сложенный, слаженный. В нем слишком много логики.

– Ну да! – не поверил Альгердас. – А по-моему, вполне абстрактный фильм. И непредсказуемый.

Мадине хотелось сказать, что он совершенно прав. Ей жаль было его разочаровывать: она видела, что к этому своему фильму Альгердас относится с трепетом. Но вместе с тем еще больше жаль ей было бы ему солгать. Да и не думала она, чтобы Альгердас нуждался в ее лжи.

– Непредсказуемости ему как раз и не хватает, – повторила Мадина. – И жизни.

По выражению глаз Альгердаса она догадалась, что он все-таки не понимает ее слов. Он вообще думал совсем иным способом, чем она, это Мадина уже поняла. Образами он думал, картинами, и для того чтобы какая бы то ни было мысль сделалась для него убедительной и важной, она должна была стать образом.

И тут она поняла, что ему надо сказать! Точнее, не поняла, а вспомнила.

– Вот, например, сны Толстого, – сказала Мадина. – Они совершенно непредсказуемы. И потому полны жизни.

– Какого Толстого? – спросил Альгердас.

– Льва Николаевича.

– Ну-у, это уж как-то вообще…

По его лицу и по тому, как он скептически покрутил головой, Мадина поняла, что Лев Толстой – это для Альгердаса существо настолько древнее, монументальное и застывшее, что ссылаться на него в чем бы то ни было, относящемся к современной жизни, кажется ему по меньшей мере странным.

– И совсем не вообще! – Мадина расслышала в своем голосе девчачью запальчивость.

Кажется, последний раз она разговаривала таким тоном в пятом классе, когда доказывала подружке Ирке, что украсить золотым «дождиком» платье на Новый год – это будет очень красиво и ничуть не хуже, чем стразами, которых у них в Бегичеве ни за что не достанешь. С тех пор в ее жизни становилось все меньше предметов, которые могли бы вызвать такую вот наивную запальчивость. В своем собственном, для всех других закрытом мире ничего не надо было доказывать никому и запальчивость была не нужна, и Мадина привыкла обходиться без нее.

Но сейчас девчачья запальчивость прозвучала в ее голосе снова, притом сама собой, даже без ее желания.

– Он очень живой, Толстой, – сказала Мадина. – И если только захочет, то может быть совершенно сюрреалистическим. Притом это не доставляет ему никакого труда – само собой у него получается. Вот смотри!

Она сказала «смотри», хотя надо было бы сказать «слушай», ведь сны Толстого она, конечно, могла не изобразить для Альгердаса, а только пересказать. Ей нетрудно было это сделать, потому что все они были яркими, а один и вообще такой, что Мадина запомнила его дословно.

– Вот слушай, – сказала она. Альгердас опустил ложку в тарелку, положил хлеб на стол и посмотрел на нее со вниманием и одновременно с едва заметным недоумением. – Это у Толстого был такой сон, и он его запомнил и записал в письме. «Я видел сон: ехали в мальпосте два голубя, один голубь пел, другой был одет в польском костюме, третий, не столько голубь, сколько офицер, курил папиросы. Из папиросы выходил не дым, а масло, и масло это было любовь. В доме жили две другие птицы; у них не было крыльев, а был пузырь; на пузыре был только один пупок, в пупке была рыба из охотного ряда. В охотном ряду Купфершмит играл на валторне, и Катерина Егоровна хотела его обнять и не могла. У ней было на голове надето 500 целковых жалованья и сетка для волос из телячьих ножек. Они не могли выскочить, и это очень огорчало меня».

Мадина не выдержала и засмеялась. Не потому что сон Толстого казался ей каким-нибудь особенно смешным, а потому что свобода и живость его воображения всякий раз вызывали у нее восторг. Потом она посмотрела на Альгердаса и сразу перестала смеяться.

– Что ты, Алька? – встревоженно спросила она. – Что у тебя вид такой потерянный?

Вид у него в самом деле был такой, словно на него вдруг свалилась гигантская снежная глыба, разбилась у него на голове, рассыпалась тонной снега, и вот он выбрался из-под этого снега и не может прийти в себя.

– Это что, правда Толстой написал? – спросил он наконец. – Лев Николаевич? Который «Война и мир»?

– Ну да, – кивнула Мадина. – А что такого странного?

– Да все странное! – воскликнул Альгердас. Он вскочил из-за стола, чуть не опрокинув тарелку, и зачем-то бросился к холодильнику, потом к подоконнику, потом обратно к столу. – Как же ты не понимаешь! Ведь это же… Он же нас всех одной левой, мимоходом, без усилия!..

– Кого – нас?

– Всех нас! Мы из кожи вон лезем, сценарии изобретаем, друг перед другом выворачиваемся – у одного эмбрион звука в ухо проныривает, у другого женщина становится треугольным пирожком, у меня вот танец в планету превращается… А он раз – и играючи придумал – или в самом деле увидел, это теперь уже неважно! – такое, на что другие жизнь готовы положить! Одной левой всех нас сделал, – повторил Альгердас.

Он был так взволнован, что Мадина почти испугалась за него. Но все-таки только почти; ей нравилось его волнение. Вот в нем-то – и в волнении, и в самом этом мужчине – жизни как раз было в избытке.

Она подошла к Альгердасу – он уже сидел у стола и нервно вертел в руке ложку, – обняла его и поцеловала в макушку. Он прижался лбом к ее груди и замер.

Тихо постукивали часы на стене. Закрепленный на циферблате маленький гном с рюкзаком шагал куда-то, волоча за собой секундную стрелку.

– А ты…

Альгердас поднял на Мадину глаза. В них стояло не удивление даже, а самое настоящее изумление.

– Что – я?

Наверное, ее голос прозвучал встревоженно, даже испуганно. Он улыбнулся.

– Просто… Знаешь, такое ощущение, что ты собиралась анимацией заниматься. Ну как? – объяснил он в ответ на Мадинин недоуменный взгляд. – Запомнила же ты этот сон Толстого зачем-то. Тут какой-нибудь стишок про унылую пору, очей очарованье три дня в школе учишь – не выучишь. Потому что какое тебе дело до унылой поры или там, наоборот, до вешних вод. А ты про этих голубей в мальпосте запомнила ведь, и наизусть к тому же! Что такое, кстати, мальпост?

– Почтовая карета, – сказала Мадина. – Но я этот сон специально не запоминала. Он как-то сам собой запомнился. И мультфильмы придумывать я не готовилась, – улыбнулась она.

– Тогда уж точно загадка. – Он улыбнулся в ответ своей прекрасной улыбкой, от которой глаза его сразу начинали светиться. – Ты вообще совершенная загадка.

– Так уж и совершенная! – засмеялась Мадина.

– Совершенная…

Это он повторил уже в постели, засыпая. Он прижал Мадину к себе, шепнул ей в висок, что она совершенная, и больше ничего не успел сказать – уснул. На него близость всегда действовала вот так вот, усыпляюще. Мадина нисколько на это не обижалась. Она понимала, чувствовала, от чего происходит такая вот мгновенная его усталость: от того, что он отдается любви весь, самозабвенно и безоглядно. И ей радостно было сознавать, что его любовь направлена на нее…

Альгердас уснул, а она лежала рядом, разглядывая сплетение теней на белом потолке. Тени были легкие, изменчивые, и непонятно было, от чего они падают, ведь шторы задернуты.

Мадина думала о том, что сказал Альгердас.

Конечно, она не готовилась придумывать мультфильмы, о которых еще совсем недавно имела даже не представление, а лишь смутное детское воспоминание. Она вообще ни к чему не готовилась – она просто жила так, как это казалось ей единственно правильным и даже единственно для нее возможным.

И совсем не готовилась она жить в Москве. Дыхание огромного мегаполиса не чувствовалось в маленьком придорожном Бегичеве, а если и чувствовалось – не дыхание даже, а лишь гул в рельсах, – то нисколько не будоражило Мадинино воображение.

И вдруг ее жизнь сделала стремительный, совершенно непредсказуемый вираж, и она оказалась в Москве, и мультфильмы вошли в ее жизнь как самое естественное занятие… И, главное, все эти головокружительные перемены произошли так естественно, так просто, что Мадине казалось теперь, иначе в ее жизни и быть не могло.

«Иначе и быть не могло. – Она перевела взгляд на Альгердаса. Он вздохнул во сне коротким и тихим детским вздохом. – Без тебя – не могло…»

В этом было все дело. Москва, перемена занятий… Эти огромные, невероятные по своей неожиданности события не воспринимались ею как главные. Главное было – он. Главный, единственный, тот, ради кого была, оказывается, и уединенная чистота тихого сада, и шелест книжных страниц в световом круге от настольной лампы, и неторопливые размышления, и вся ее долгая, почти на тридцать лет, одинокая жизнь в том мире, который она для себя создала.

Она оставила тот мир, но не жалела о нем – так, как не жалеет бабочка о шелковом коконе, в котором готовилась к новой, главной своей жизни.

Глава 8

– Не относись к этому так фундаментально, – сказал Альгердас. – Правда, Динка, ну что с тобой? У тебя сердце как у птички бьется. – Он притянул Мадину к себе и положил руку ей на грудь. – Даже через пальто слышно.

– Как же не относиться, Алька? – жалобно сказала Мадина. – Конечно, я волнуюсь.

То, что Альгердас так легко воспринимает их первый визит к его маме, могло бы вообще-то Мадину и обидеть. Но во всем его поведении и в этом вот отношении к предстоящему событию было столько естественности, что обижаться казалось невозможным. Такая уж у него была природа, неуловимая и этой своей неуловимостью привлекательная. Какая-то в этой природе чувствовалась загадка, которую Мадина не могла не то что разгадать, но даже обозначить ясными словами.

Но сейчас ей было не до загадок мужской природы. Она стояла перед зеркалом в прихожей и уже в третий раз перевязывала шелковый платочек у себя на шее; все ей казалось, что он завязан не так, как следует.

Альгердас снял с нее платочек.

– Брось, – сказал он. – Брось, Динка, глупости. Ну зачем он тебе сдался?

– Мне кажется, – тем же жалобным голосом сказала она, – что я выгляжу вульгарно. Только не пойму, то ли в платочке, то ли, наоборот, без него.

– Прекрасно ты выглядишь. – Он коснулся щекой ее волос, подышал ей в макушку. – Ну сама посмотри. Глаза у тебя вон какие.

– Какие? – заинтересовалась Мадина.

Он никогда не говорил ей ничего такого, что можно было бы считать комплиментами. И теперь его слова и его голос, чуть дрогнувший, прозвучали так, что она даже о волнении своем на мгновение позабыла.

– Загадочные, как… Как не знаю что! Может, потому что поставлены широко. Это, между прочим, считается признаком художественной одаренности, знаешь?

– Не знаю, – улыбнулась Мадина. – А глаза у меня просто папины. То есть в его предков. Из диких степей Забайкалья.

– Возможно, – кивнул Альгердас. – Зато все остальные твои черты входят с глазами в контраст.

– Почему? – удивилась Мадина.

Как ей нравилось это слушать! Сердце счастливо трепетало от того, что он, оказывается, замечает такие тонкости ее внешности.

– Потому что они нежные. – Альгердас коснулся ладонью ее волос, и вот в этом-то его прикосновении нежности было так много, что она не нуждалась в словах. – Волосы легкие, лицо как световой линией обрисовано… И улыбка у тебя такая, что мне то ли в небо хочется взлететь, то ли стать младенцем в колыбельке.

Услышав про колыбельку, она рассмеялась.

– Милый ты мой, милый, – сказала Мадина, обнимая его. – Кем угодно становись. Вряд ли ты от этого изменишься. Только далеко не улетай, – попросила она.

– Пойдем, – сказал Альгердас. – Все хорошо.

Квартира, в которой он жил на Ленинском, была бабушкина – Альгердас поселился там после ее смерти. А мама жила на Таганке, прямо за знаменитым театром; там он и вырос.

– Мне отсюда страшно жаль было уезжать, – сказал Альгердас. Они с Мадиной поднялись из метро, обогнули Таганскую площадь и шли теперь вдоль театральной стены. – Эти дворы ничем не заменить. Я когда маленький был, то мне, знаешь, казалось, что Высоцкий все свои

песни у нас во дворе написал. – Он улыбнулся, вспомнив это. – Правда, теперь возле меня все-таки Нескучный сад есть. Да и самостоятельности мне хотелось, конечно. Потому и перебрался.

Эту последнюю фразу он произнес в ответ на непроизнесенный Мадинин вопрос. Они часто так разговаривали – отвечали друг другу, не дожидаясь вопросов.

Трехэтажный дом был выкрашен в белесо-желтый цвет. И дом, и подъезд под невысоким козырьком, на котором сидела полосатая кошка, и весь небольшой, засаженный тополями двор выглядели просто и обыденно. Но это была очень насыщенная, очень какая-то… подсвеченная изнутри обыденность; Мадина сразу чувствовала такие вещи.

– А вот мама, – сказал Альгердас, открывая дверь квартиры на втором этаже. – Привет.

Мама вышла им навстречу из комнаты – наверное, услышала, как ключ поворачивается в замке.

– Если бы ты в детстве не полюбил читать, то я бы тебя теперь вообще не видела, – сказала она и быстрым, как у Альгердаса, движением пригнула его голову и поцеловала сына в лоб. – Привет, милый. Здравствуйте, Мадина. Я Елена Андреевна.

И с этих, самых первых, ее слов Мадине стало понятно, откуда у Альгердаса то выражение абсолютной естественности, живой простоты каждого жеста, взгляда, слова, которое было так привлекательно в нем. В естественности этой сын и мама были похожи как две капли воды, как зеркальные отражения друг друга. Хотя вообще-то внешнего сходства между ними, кажется, было немного; впрочем, от волнения Мадина не могла толком разглядеть внешность Елены Андреевны.

– Лёка только ради книжек у меня и появляется, – объяснила она Мадине. – И то до последнего Интернетом обходится. Забегает, когда уж вовсе невмоготу станет. Проходите, пожалуйста.

– И ничего не только ради книжек, – возразил Альгердас. – Я к тебе прихожу за едой и мудрыми советами.

– К которым не слишком прислушиваешься, – кивнула Елена Андреевна.

– А вот и книги, – сказал Альгердас, когда они вошли в комнату.

Книг в комнате было так много, что стены были, собственно, и не стенами, а сплошными книжными полками. Мадинино волнение прошло в такой комнате совершенно: книжный мир всегда ее успокаивал.

– Еда уже готова, – сказала Елена Андреевна. – Ничего, если мы на кухне пообедаем?

– Ничего, – кивнул Альгердас. – Динка без заскоков, ма, не волнуйся.

Чтобы его мама волновалась, было не похоже. Даже в том, как она позвякивала в кухне посудой, чувствовалось такое же безмятежное спокойствие, каким веяло от всего ее облика.

– До того, как я погрузился в сюрреалистический мир анимации, жизнь моя, как видишь, была довольно основательной. – Альгердас кивнул на книжки. – Мама до сих пор понять не может, почему у меня фильмы такие странные. Она живет среди внятных явлений.

– Это сразу чувствуется, – сказала Мадина. – И ты на нее очень похож.

– Разве? – удивился он. – Я вроде бы на отца похож. Если по фотографиям судить. Так-то я его и не видел никогда, он до моего еще рождения умер.

Он никогда раньше не говорил Мадине о ранней смерти отца, вообще о таких подробностях своей жизни. Ее как будто и не было у него, прежней жизни, как и у Мадины, впрочем. Они жили только тем, что было у них общим, и если какой-то мир казался им сюрреалистическим, то явно лишь тот, в котором их жизни протекали раздельно.

А теперь вдруг оказалось, что прежняя, отдельная жизнь у Альгердаса не только была, но что она составляла основу его характера, привычек, пристрастий. Это открытие произошло для Мадины так неожиданно! Было от чего взволноваться и даже оторопеть. Но Альгердас держался с обычной своей естественностью, и волнение ее прошло, не начавшись.

Что обед вкусный, но простой, ничуть не парадный, тоже не удивило ее. Трудно было представить, чтобы Альгердас или Елена Андреевна торжественно откупоривали шампанское, подавали омаров… Правда, Мадина не знала, подают ли омаров в каких-нибудь других домах. Она вдруг поняла, что дом Елены Андреевны – это первый московский дом, в который она попала. Не считая дома Альгердаса, конечно. Но тот и не домом был, а каким-то неназываемым, особенным, не имеющим границ пространством.

Ели куриный суп с ярко-желтой итальянской лапшой, потом котлеты, тоже куриные. Салат из огурцов и помидоров подавался не в начале обеда, а, как Мадина любила, вместе со вторым. Потом пили чай с тортом и конфетами и разговаривали о Мадининой прежней работе.

– Я свою первую библиотекаршу до сих пор помню. – Елена Андреевна подлила Мадине чаю. – Это в войну было. Папа был на фронте, а мы с мамой в эвакуации в Куйбышеве. Книг с собой, конечно, никто из Москвы не привез, и все ходили в городскую библиотеку. На хорошие книги такая очередь была! – улыбнулась она. – А мне Тамара Ильинична, так библиотекаршу звали, в первую очередь их выдавала. Иногда и без очереди даже.

– Почему? – спросил Альгердас.

– Потому что я любую книгу за одну ночь могла прочитать. Даже взрослую и толстую. Я только взрослые и читала, впрочем. Тамара Ильинична сначала не верила, что я в самом деле их читаю, и заставляла меня пересказывать содержание. А когда убедилась, что все без обмана, то я у нее стала самой любимой читательницей. А вы любили свою работу? – спросила она Мадину.

– Мне трудно ответить. – Мадина улыбнулась немного виновато. – Наверное, любила. Но не работу, а как-то… Свое состояние.

Она подумала, что слова ее прозвучали неясно, и ожидала, что Елена Андреевна примется расспрашивать, что она имеет в виду. Но та расспрашивать ни о чем не стала. Что главное в Елене Андреевне, что такое вообще эта женщина – понять этого Мадина не могла. В естественности всей ее натуры было что-то скользящее, ускользающее.

Пока они разговаривали о библиотеке в Куйбышеве и о Мадининой работе, Альгердас отбирал книги, которые хотел взять с собой.

Мадина поблагодарила Елену Андреевну, встала из-за стола и ушла к нему в комнату. Он брал книги с полок и складывал их в стопку на низеньком журнальном столике. Верхним в стопке лежал томик Канта – «Критика чистого разума». Мадина взяла его в руки, полистала, улыбнулась.

– Ты почему смеешься? – спросил Альгердас.

– Так. Радуюсь.

– Чему? – удивился он.

– Совпадению. Я Канта люблю. И ни одного человека на свете еще не встречала, который его тоже любил бы. Не к экзамену в институте готовился, а просто так читал бы. А я всегда думала: это же так красиво, что он звездное небо с человеческой душой сравнил. И мне сами эти слова так нравились: чистый разум… Очень красиво и точно. Видишь, теперь ты сам смеешься! – заметила она Альгердасову улыбку.

– Я не смеюсь. – Улыбка светилась у него в глазах. – Я тоже его люблю. Видишь, перечитываю. Я, знаешь, даже думал: вот бы фильм такой снять, про чистый разум. Только не представляю пока, как этот чистый разум показать. Здесь какой-то очень сильный образ нужен.

Мадина быстро прижалась щекой к его плечу, зажмурилась на секунду. Потом открыла глаза и спросила:

– А еще какие книги возьмешь?

– Я сразу помногу стараюсь не брать, – ответил он.

– Почему? – спросила Мадина.

– Страшноватые получаются зияния. – Он кивнул на пустоты, образовавшиеся на полках. – Может, конечно, и глупости, но мне не по себе становится, когда книг на полках не хватает. Как будто кто-нибудь умер.

Мадина успокаивающе сжала его руку. Обед был окончен. Книги отобраны. Можно было уходить.

Елена Андреевна простилась с ней, по видимости, сердечно, но утверждать это с уверенностью Мадина не могла. Спрашивать же у Альгердаса: «Как ты думаешь, я понравилась твоей маме?» – казалось ей глупым. Да и не похоже было, что он привел ее сюда для того, чтобы она понравилась или не понравилась Елене Андреевне. А для чего он ее сюда привел? Мадина не знала.

Она ни о чем его не расспрашивала, идя по вечерней Таганке вдоль тихих в воскресный день дворов, вдоль голых, с резкими темными ветками деревьев, вдоль простых домов с давно не штукатуренными стенами. Пошел снег. Он был тяжелый, мокрый и не задерживался на ветках.

– А почему ты сказала, что любила не работу, а свое состояние? – спросил Альгердас.

Его вопрос был неожиданным. Мадина не думала, что из комнаты, да еще поглощенный книгами, он слышал ее разговор с Еленой Андреевной.

– Потому что так и было, – ответила она. – Я не очень похожа на библиотекаря.

– Это да, – кивнул Альгердас. – Ты слишком красивая.

– Разве? – удивилась Мадина. – Не знаю. Но это и совсем ни при чем. У нас Наташа Рязанцева из читального зала в сто раз красивее, чем я. Просто библиотекари, как правило, очень активные. Конференции проводят, клубы по интересам организуют, встречи всякие. Что они свою работу любят, это сразу видно. А Наташа, знаешь, – вдруг вспомнила она, – даже семью одну восстановила.

– Это как? – улыбнулся Альгердас.

– Довольно неожиданно. Через книги. К нам вдруг стал ходить мужчина, Никитиного примерно возраста. Ходит, газеты читает, журналы – все вечера в читальном зале сидит. А это ведь необычно. Мужчины в расцвете лет вообще редко в библиотеку ходят, а тем более так подолгу в читальном зале не сидят. Ну, Наташа его и разговорила потихоньку. Оказалось, от него жена ушла. То ли другого полюбила, то ли еще какая-то глупость среднего возраста с ней приключилась. Ушла и дочку четырнадцатилетнюю с собой забрала. Вот как раз жену его мы отлично знали, она к нам раньше часто ходила, а стала редко. Он все книжки про холотропные модели сознания искал, – улыбнулась Мадина. – Думал, что ему готовые модели помогут. Вообще, очень его было жалко, он совсем растерялся. И Наташа стала ему и его жене одни и те же книги подсовывать. Чтобы они про одно и то же думали и одинаково чувствовали.

– Ну да! – не поверил Альгердас. – Думаешь, люди чувствуют то, о чем читают?

– Может, и не совсем то, но в их случае это сработало. Его исключительно философия интересовала, и жена его тоже философией увлеклась. Правда, Наташа с ними и разговаривала ведь еще, и подолгу. Не смейся, – сказала Мадина, заметив, что он улыбнулся. – Ведь помогло же!

– Что, жена к нему вернулась?

– Представь себе. Сначала стала чаще к нам ходить, книжки брать. Хайдеггера прочитала. Потом они в читальном зале встретились. Потом еще раз, и еще… И она к нему вернулась.

– И что? – спросил Альгердас.

– Пришли в воскресенье все втроем, с дочкой. Он сиял, как медный тазик. Взял детектив, жена любовный роман, а девочка «Гарри Поттера».

Альгердас расхохотался.

– И настал конец философии! – сказал он.

– Да. – Мадина улыбнулась тоже. – Ну и пусть.

– Я понял, что ты имела в виду. – Он смотрел на нее светлыми, как летящий над его головой снег, глазами. – Тебя в самом деле трудно представить в таком качестве.

– В каком? – не поняла Мадина.

– В таком… Просветительском. Трогательном и примитивном. Ты сложнее. То есть в тебе простота и сложность очень необычно переплетены.

Мадина почувствовала, что у нее розовеют щеки. Это не было банальным комплиментом. Это значило, что Альгердасу не все равно, что она такое, значило, что ему важно происходящее у нее в душе, что его отношение к ней глубоко и серьезно… Очень много это значило!

Она смотрела в его глаза и задыхалась от растерянности. И от растерянности же вдруг спросила:

– А почему твой папа рано умер?

Альгердас не удивился ее вопросу.

– Погиб, – ответил он. – Неожиданно.

– Но разве этого вообще можно ожидать?

– Ну, бывают же профессии, от которых всего можно ожидать. Моряк-подводник, что ли. А он был просто художник-оформитель. Афиши рисовал в Кинотеатре повторного фильма. У Никитских Ворот. Шел вечером домой, а во дворе была драка.

– Но зачем же он в нее ввязался! – воскликнула Мадина.

В том, как Альгердас это рассказывал, не было ничего особенного – никакого сильного выражения чувств. Но было что-то сильнее силы, и это ее взволновало.

– Да это, в общем, и не драка была. Девчонку за гаражи тащили, за те, которые справа от подъезда, может, ты обратила внимание, они и сейчас там стоят. Мужиков трое было, и один ей рот зажал, чтобы не кричала: тогда ведь люди на крик еще реагировали, из дома могли выбежать. Так что кричать она не могла. Отец, наверное, сам догадался, что происходит. Вот и ввязался.

– И… что? – чуть слышно спросила Мадина.

– Ножом в живот ударили. Почти сразу умер.

– Он, наверное, смелый человек был… – медленно проговорила она.

– Не знаю. Мама говорит, никакой особенной смелости она в нем не замечала. Я, знаешь, тоже думаю, тут дело не в смелости.

– А в чем?

– Ну, в том… В том, что ты вообще есть. Что ты сделаешь сразу, не думая. Если начнешь думать, рассуждать, то тогда уже важно, смелый ты или нет. А если сразу – это не имеет значения. То есть что-то другое имеет значение.

Он замолчал.

– Я тебя люблю, Алька, – сказала Мадина, глядя в его глаза, похожие на летящий вдоль неба снег.

Глава 9

В Бегичеве всегда было тихо, а теперь, зимой, эта тишина стала просто всеобъемлющей. Поселок утопал в снегах так глубоко и полно, будто находился не в трех часах езды от Москвы, а где-нибудь в бескрайних просторах Сибири.

И сад за окном казался под этим снегом бескрайним, как волнистая равнина с редкими холмами. Холмами стали розовые кусты, укрытые на зиму еловым лапником и теперь занесенные снегом, и смородиновые кусты, и крыжовник, и клубничные грядки, и лейка с ведром, забытые осенью возле теплицы. Все это было освещено праздничным зимним солнцем, снег блестел и переливался в его играющих лучах. Мадина с детства знала, что про этот вот зимний солнечный свет так и говорят – «солнце играет». Удивительно, что Альгердас до сих пор спал! Никогда он не вставал так поздно, как сегодня в Бегичеве.

– Алик хороший. – Мама накрыла льняным полотенцем доску с выложенными на нее только что слепленными пирожками. – Пусть пирожки подойдут. Он очень хороший, и это сразу понятно. Хотя в общем он не кажется мне понятным.

Папа с утра побежал за какими-то особенными хлопушками, которые только вчера привезли в магазин, а Мадина с мамой пекли пирожки к праздничному столу. Вторая порция пирожков была в духовке, первая, уже испеченная и уложенная в миску, благоухала на весь дом, а третья ждала своей очереди под полотенцем.

– Мне он тоже не кажется понятным, – сказала Мадина. – Но это ведь хорошо.

– Не знаю, Мадиночка. Может быть, и хорошо, но как-то… тревожно. К тому же он такой молодой! Сколько ему лет?

– Двадцать четыре.

– Выглядит еще моложе. Совсем мальчиком. У меня некоторые одиннадцатиклассники постарше выглядят. Ну, это неважно, конечно. Главное, чтобы был хороший человек.

Только мама с папой умели говорить абсолютные банальности так, что они казались не банальностями, а единственной правдой. И так превращать простые действия в праздничные тоже умели только они.

Именно это сейчас и происходило в доме. Подготовка к Новому году всегда была у Веневцовых праздником и даже священнодействием. Конечно, все это было Мадине знакомо – и пирожки с пятью разными начинками, и кружевные гирлянды из фольги, которые папа изготавливал собственноручно, и крюшон, который мама делала из замороженных летом ягод – клубники, малины, брусники, черники, голубики, смородины… Все это было ей знакомо, но все приобретало теперь особенный смысл оттого, что происходило в присутствии Альгердаса.

Они приехали в Бегичево тридцатого декабря и застали предновогодние хлопоты в самом разгаре. К тому же вперемежку с хлопотами по приему гостя, что было для родителей священнодействием не меньшим, если не большим, чем любой другой праздник. Видимо, вся эта суета вокруг него и утомила Альгердаса так, что теперь он спал и спал, несмотря на яркое солнце за окном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.